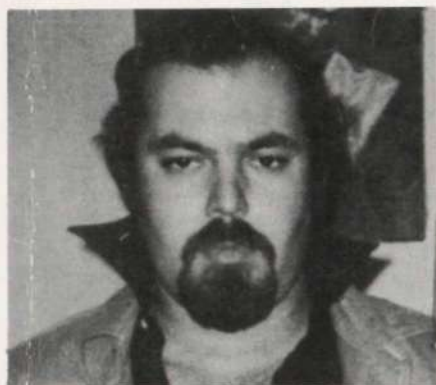


ВРЕМЯ ИДЕИ 26 1978

В НОМЕРЕ: Е. ШИФФЕРС "ДАВАЙ, АКИМУШКИН, ДАВАЙ" ● ПРО-РОЧЕСТВО-РЕПОРТАЖ ОРВЕЛЛА КЕЛЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ ● ПИР АВАНГАРДИЗМА ● О СВОБОДЕ СОВЕСТИ В ИЗРАИЛЕ



*Лия Владиморова
Пора предчувствий
Ефим Эткинд ►
Советский писатель и смерть
Владимир Рыбаков
Мост Александра 111*



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Четвертый год издания

Выходит один раз в месяц

26
1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1978

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН
ГЕОРГИЙ БЕН	МИХАИЛ ЛЕДЕР
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ААРОН ЯАРИВ
МИХАИЛ КАЛИК	

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98, 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурье 305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474-9773
США	Эдуард Штейн 7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97 USA
Франция	Ричард Кернер 24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61
ФРГ	Арий Бернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Владимир РЫБАКОВ
Мост Александра III. 5
Вадим НЕЧАЕВ
Одиноким сдается угол. 50
Е. ШИФФЕРС
Давай, Акимушкин, давай! 68

ПОЭЗИЯ

Лия ВЛАДИМИРОВА
Пора предчувствий. 80
Леонид ГУБАНОВ
Победителей не судят. 93
Игорь БУРИХИН
В суровую зиму я пробовал жить 101

ПУБЛИЦИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ, КРИТИКА

И. ДОМАЛЬСКИЙ
Технология ненависти. 110
Ефим ЭТКИНД
Советский писатель и смерть 133
Борис ПАРАМОНОВ
Орвелл: пророчество-репортаж 146

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Фаина БААЗОВА
Дело Рокотова 164
Михаил ХЕНЧИНСКИЙ
Келецкая трагедия. Загадка одного погрома 180

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

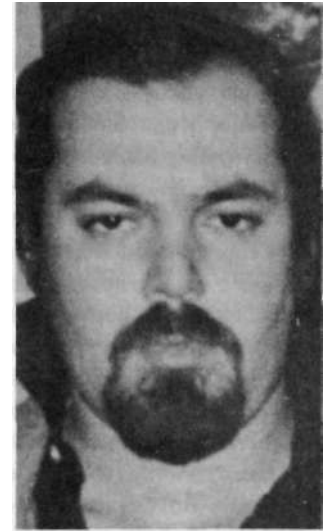
Пир авангардизма. 194

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Существует ли в Израиле свобода совести? 204

Коротко об авторах 218

Владимир РЫБАКОВ



МОСТ АЛЕКСАНДРА III

1

Святослав Мальцев стоял на Елисейских Полях, так поместив свое неловкое в быстротекущей толпе тело, чтобы глаза могли беспрепятственно мигать то в сторону Триумфальной арки, то по направлению к Обелиску на площади Согласия. То, что во Франции называлось зимой, сыпало медленный дождь на его ушанку и московское пальто. Скоро Святославу придется в шестой раз видеть, как день, лишенный горизонтов, уйдет из Парижа.

Мальцев прислонился к лампадеру. Еще три дня назад он продал часы, обручальное кольцо: его обманули, или золото действительно мало стоило в этой стране...

В кармане у Мальцева оставалось два франка. Мимо него торопились — скудно продвигались вперед толпы автомобилей. Святослав видел: парень, выпустив руль, небрежно прижался лицом к шее сидящей рядом девушки. Мальцев отвернулся, и мысль, сотворенная из вечных чувств, добравшись до ума, стала словами: — Хорошо живут, сволочи.

Толстое пальто медленно впитывало воду, падающую с французского неба, но озноб, охватывающий Святослава, был скорее нервный. Нужно было куда-то идти, как-то жить в этом мире... в этом свободном мире. Он прошел мимо

Отрывок из повести.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и Мы"

светящегося английского ресторана, свернул в какую-то боковую улицу и остановился у витрины гастрономического магазина. Куда ближе и понятнее был Мальцеву Лувр, чем эта витрина, изысканно нагроможденная великолепной пищей. Ее было слишком много, и она была неправдоподобно разнообразной. Она, эта витрина, олицетворяла этот чужой, пока еще холодный для него мир.

Еще с месяц назад Святослав Мальцев вышел из Мурманска в море на борту уже привычного до мелочей рыболовецкого траулера. Никто не замечал, что после каждого рейса Святослав тратил на берегу все до копейки — это делал весь экипаж, кроме двух чеченцев, собирающих деньги на невест. Можно было придрататься: Мальцев брал с собой в кубрик толстое и хорошего качества пальто: спросить — а зачем?, но без блажи нет настоящего человека и, кроме того, посмотришь перед сном на дорогую матерью и вспомнишь дорогу на танцы, тугой живот подруги, подумаешь о качке не палубы, а тел. В рейс, который должен был стать для него последним, Мальцев отправился с устоявшейся и потому спокойной надеждой. Оставшиеся тридцать рублей он отдал бляди Тане (с которой до того додружился, что и спать уже с ней не мог). Она всплакнула, взяла деньги — для нее мелочь — и сказала на прощанье банальщину:

— Ты хороший. Я буду тебя ждать не так, как других.

По прибытии в Мурманск Мальцев, устраиваясь на работу, знал, что ему, родившемуся за границей, не выйти и через десять лет из внутренних вод; да и лицо его не кричало о политической благонадежности — острая борода, с которой Святослав не мог расстаться, сама по себе объясняла любому начальнику отдела кадров, что ее хозяин может совершить непредвиденное. Но рабочих рук не хватало, и на траулер, не выходявший из территориальных вод, Мальцева все-таки взяли. Когда шла рыба, люди работали часто по двадцать часов. Затем наступали дни пустых сетей. Команда изнывала от скуки. Мальцев валялся на своей койке, вспоминая странное свое прошлое и обдумывая опасное будущее. За год до его демобилизации из армии мать Мальцева добилась разрешения вернуться на Запад. Она уехала, заплатив за

квартиру на полтора года вперед. Святослав часто с усмешкой гадал: вернется ли его мать после пятнадцатилетнего пребывания в Советском Союзе к французской компартии — или не вернется. Во всяком случае, она могла себя по праву считать старой коммунисткой. Дембельнувшись, Мальцев вернулся к себе в Ярославль. Дверь квартиры отворилась без романтического скрежета, и он как был, в шинели, повалился, не смахнув годовую пыль, на материнскую кровать.

Ему хотелось, чтобы мать вернулась в их компартию, чтобы порочный круг сомкнулся. Порочным был сам круг, даже не знавшие колеса его чувствовали: человек ест сам себя, и геометрия тут не при чем.

Пыль, поднятая телом, еще оседала, как Мальцев видел себя, как будто не существовали ни время ни память, парижским пацаном, идущим в школу по улице де Петит Экол, видел себя убегающим из интерната, кажется в Шантильи, видел мать, приучившую его пить молоко и прочую детскую гадость за здоровье Сталина. Все в той стране Франции было умытым. Стены домов болели только старостью, нищие были наглыми, а честные люди были настолько обеспеченными, что могли быть добродушны. В общем, меньшее зло на земле, объективный золотой век.

После множества суток беспробудного пьянства, налитого стремлением к свинству, пришло письмо из Ярославля в Ярославль. Оно было без обратного адреса и подписи. Письмо сказало Мальцеву, что в трубе газовой печи лежит его французский паспорт. Он там был, синий, республиканско-опасный. Он был на его имя и фамилию, но чистый без виз и других важных помарок. Святослав вновь рухнул на материнскую кровать, в которой спала какая-то девица с трикотажной фабрики, дрыхала-почивала так, как это делают молодые женщины в выходное субботнее утро: тело не подчиняется ни будильнику, ни гудку — только мужскому прикосновению. Мальцев сказал, обращаясь к спящей:

— Эх ты, вот моя старуха, вот это женщина! Достала в Москве для меня паспорт. Во-первых, непонятно, как французы его дали: в Союзе двойное подданство не допускается, следовательно, она как-то обманула французское государ-

ство. Французы, желая сохранить хорошие отношения с нами, никогда бы на это не пошли, во всяком случае официально. Во-вторых, за этот кусок картона без всяких штампов мне грозит, в случае чего, три года тюрьмы или другого санатория. Что же делать, сжечь, съесть или сохранить!?

Было утро, голова с похмелья не болела, рядом лежал завтрак, просыпаясь бубнила что-то женщина — решать было незачем.

Уже когда Мальцев работал грузчиком в городской хлебопекарне, пришел из Парижа от матери официальный вызов.

Начало семидесятых годов было затяжным: за отказом шел другой отказ. Знакомые евреи приходили весело прощаться, обещали прислать открытку из покоренного Каира, а Святослав все ждал.

Затем пришла весть, что мать повесилась. Святослав вытащил извещение из почтового ящика, когда возвратился с ночной смены, неся в себе не дающую сна усталость. Перечитав извещение несколько раз, пока смысл слов не стал ясен, Мальцев заматерился. Он бросал в стены, в небо густки ругани, проклятья ко всему существующему неслись по подъезду.

Все рушилось. Не будет больше Франции. Никто его больше не вызовет в эту, ставшую ненавистной своей внезапной недосыгаемостью страну. Он зря травился свободой, зазря впитывал в себя принципы, заставляющие людей жить в либерализме, бесплатно изучал, пытался понять законы общества, которое теперь умудрилось богатеть не убивая. Веревка, выдержавшая там в Париже тело матери, одновременно опутала его по рукам и ногам здесь, в Ярославле. Мальцев чувствовал и знал, что для отравившегося свободой нет противоядия. Все эти годы он старался выжить — яд выползал из всех пор, требовал честности, открытости, того, что называется диссидентством, он же запикивал его обратно в себя, скрывал от окружающих опасное знание, и в этой борьбе против себя, против свободы в себе, часто бывал жестоким: гадил вокруг, оскорблял, иногда калечил и убивал... было и это.

Оказалось — все было умной бессмыслицей. Теперь нет

нужды в этой измотавшей его борьбе, нонче можно заорать, рвя голосовые связки, что ничего у нас не вышло, что глупо были пролиты сотни миллионов литров человеческой крови, что распределение не может быть экономически выгоднее потребления, заорать и пойти, куда пошлют... Может — смутно подумал Мальцев — я встречу на пересылке или в камере со Свежневым. Он так недолго сопротивлялся. Я знал его обреченным и бросил его же судьбе.

Не зная, что она окажется и моей.

Окаянная веревка, небось, и не намылила... торопилась. Мальцев в бешенстве ворвался к себе, бросился к печке, чтобы, достав, изжевать, разорвать, уничтожить сволочную французскую бумагу. Пальцы руки побежали к заслонке — и застыли вместе с образовавшимся из отчаяния решением.

Через неделю Святослав Мальцев, выписавшись из Ярославля, улетел в Мурманск.

Когда он впервые поднялся по трапу на борт траулера, море под ногами хмельно шептало ему об успехе, Оно продолжало уверять так же пьяно и нежно семь месяцев спустя. За это время Святославу успели в драках сломать нос и порезать бок, а он умудрился во второй раз в жизни убить человека. Его по недомыслию взяли на "куклу" — милая блядь повела его по темным улочкам до безархитектурного подъезда; там его поджидали четыре человека. Боясь попортить костюм Мальцева, эти люди решили покончить с добычей без поножовщины, голыми руками. После первого неудачного из-за спешки удара Мальцев без колебаний выхватил из кармана тяжелую свинчатку: левая рука ударила самого ретивого в лоб — подбородок приподнялся — и правая, с грузом свинца, пройдя короткое расстояние, сломала горло. Когда оставшиеся на ногах люди увидели мертвые глаза друга, они отступили и ушли. Добыча не оказалась добычей.

Мальцев убил бы их всех. Надежда, не так давно потерянная, давала ему это право. Но с борта траулера он по-прежнему, рейс за рейсом, видел горизонты из советской воды и неба. Новое московское пальто с зашитым за подкладку французским паспортом, стремясь обрести хозяйские плечи,

все ожидало улыбки случая. Нудно старели в ожидании семидесятые годы двадцатого века. Но вот единожды рыба пошла да пошла. План мог быть перевыполнен. Траулер гнался за косяками, почему-то не влюбившимися территориальные воды СССР. И еще — ударил шторм. Никто, кроме Мальцева, не знал и никогда не узнает, когда гонимое ветром и взбесившееся водой судно совершило преступление невольным переходом государственной границы. Безразлично уходящий день делал шторм темным. Не светлее было у Мальцева на душе. Было такое ощущение, будто тело лишается воды. Слева по борту была Норвегия, и только моторы мешали течению погнать траулер к фиордам. Их в старину так боялись европейцы. Тогда там ждали конунги и викинги на драккарах, ждало рабство. Теперь там Мальцева ждало наименьшее зло.

Шторм начинал уставать. Святослав, убедившись, что в такую погоду никто не высунет носа на палубу, потащил к корме давно припасенные старые сети. Его сбила с ног волна, механически подумалось: смоет или не смоет. Мальцев опять, в который уже раз, остался в живых. Была вокруг ночь цвета умирания в грехе, когда Святославу удалось запутать сетью винт. Ему мешали не только шторм, темнота и холод, но и навязчивое, липкое слово — саботаж, атакующее движения из подсознания сильнее, чем вода из моря.

Мальцев затрясся при виде буксира, спешившего к траулеру, к нему, Святославу Мальцеву.

После драки со страхом — некоторое время траулер бесновался — команда, вспомнив о редкости острых ощущений, об открывающихся возможностях рассказать на берегу случившееся и о приближающемся норвежском берегу, развеселилась.

Показывая пальцами на матросов буксира, орали друг другу:

— Гляди на того длинного. Верно, старый волк. Небось, на берегу качается. Без водяры пьян.

Рыбаки со стажем с насмешкой смотрели на молодых. Капитан, грызя ногти, сказал:

— На берег не сходить. Запрещено. Они, эти самые нор-

вежцы, посмотрят, что у нас там с винтом стряслось — и в путь.

Раздался свист:

— Вот-вот, попадешь за границу, так даже иностранку не полапаешь, а у них, говорят, бабы размером больше, чем в Сибири.

Мальцеву вдруг захотелось послать все свободы ко всем чертям и, побаловавшись словом, завалиться спать до утра. Захотелось быть, как все... и злобно усмехнулся Святослав невозможному. Известно ведь — от себя не убежишь. Грустная эта мысль владела им до прибытия буксира в маленький норвежский порт. Сквозь наступившую ночь до глаз доходили огни в домах. Мальцев вспотел, то ли от напряжения, то ли от страха. Траулер, частица Советского Союза, болтался в метрах семи от Норвегии. Нужно было проплыть эти метры в ледяной воде, чтобы превратиться из государственной собственности в свободного гражданина, Семь лет мечты стояли перед семью метрами воды. Святослав Мальцев вышел из кубрика на палубу, когда на вахте должен был стоять москвич Серов, потомственный алкоголик, человек больше всего презирающий людей либо трезвых, либо бодрствующих.

Мальцев был гол, его тело, казалось, светилось в черноте воздуха и воды; одежда, маленькая летная сумка, завернутые в брезент, дрожали в руке. Серов, закутавшись в офицерскую плащ-палатку, сладко дрых. Плащ-палатка могла вполне ранее принадлежать какому-нибудь пограничнику. Чувствуя, что теряет секунды, — тело могло одеревенеть, — Мальцев отчаянным, почти истеричным усилием воли заставил себя не думать. Это ему почти удалось. Перед тем как соскользнуть за борт, рука Мальцева впервые за свое существование сделала знак креста, а мысль, последняя мысль Мальцева в СССР, все же родилась и была она обращена к спящему Серову: прощай, забулдыга. Больше пей, да меньше думай.

Пришел в себя Святослав уже в Норвегии. Вытащив из кармана пальто припасенную бутылку водки, он, не отрывая губ от горлышка, высосал ее. Мальцев праздновал и грелся. Он был как будто на свободе.

Только в Осло, выйдя из французского посольства, он впервые смог обратить внимание на витрину какого-то гастронома, мимо которого шли и шли люди. Витрина этого магазина не была естественной, она была слишком богатой. Мелькнула дикая мысль — для пропаганды, что ли? Перед ним во плоти лежало общество потребления. Да, может быть, но почему очередей нет? Гастроном был полупустой. Раз нет очереди, значит этот магазин предназначен для элиты, для миллионеров. Эта мысль успокоила Мальцева. Так уж сделан человек... он любит понимать — и быстро. Непонятное раздражает несмотря на то, что неизвестное манит. В Осло все магазины были такими, но Мальцев отказался поставить вопрос. К дьяволу!

И вот он вновь стоит перед витриной — на этот раз на Елисейских полях — и опять не понимает, откуда взялось такое обилие. Мальцев не мог уже заявить себе: этот магазин для капиталистов — цены были вывешены. А что такое франк он уже приблизительно знал.

Французы с раскованными выражениями лиц — будто никто не ожидал подвоха от жизни — равнодушно шли мимо выставленного богатства. Мальцев все не мог отойти от витрины, от еще не расшифрованного символа этого общества. Во всяком случае, за свободу есть досыта и вкусно изначально отдавали жизнь миллионы людей, за свободу излагать свои мысли вслух — одиночки. Наименьшее зло и есть всеобщее счастье. Нашел ли он его? Мальцев внутренне желчно расхохотался. Он пока был далек от возможности попользоваться тем, что выставляла витрина, именуемая Францией, в общем, и эта вот витрина с копченым окороком посередине, в частности. Ему-то и ночевать было негде. Последнюю крупную бумажку Мальцев отдал совершенно пресной проститутке. Оказалось, бедой Святослава был тот глупый факт, что он француз. Был бы он эмигрантом, иммигрантом, политическим беженцем — ему помогли бы различные организации, дали бы денег. Помог бы, как он узнал, Толстовский фонд, французы, евреи. Нет, выданное ему французское удостоверение личности отваливало Мальцеву право голосо-

вать хоть за святого духа, был бы он только кандидатом, но права жрать не давало.

Хотя руки болтались вдоль тела, Святослав мысленно зажал ими голову. Так он дошел до мертвого фонтана, свернул направо, тускло бросил взгляд на большие дома-дворцы, торчащие по обеим сторонам улицы, и вышел к мосту. Мост своей грубоватой вычурностью и явным ханжеством напомнил Мальцеву искусственную архитектуру Ленинграда. Святослав прочел сквозь сумерки название: мост Александра III. Устало растянул рот в усмешке. Этот мост в Париже носил имя самого националистического русского царя, монарха, как-то сказавшего: "Когда русский царь рыбу удит, Европа может подождать". Разве не смешно? Он вспомнил, что при Александре III был заключен франко-русский союз.

Бессильная ярость проникла в Мальцева. В каком-то учреждении, набитом иностранцами, ему предложили поехать на север и там на автомобильном заводе полировать на конвейере французское железо. То, что он француз, сказали Мальцеву, поможет очень быстро продвинуться по службе, Мальцев был слишком уставшим, чтобы рассмеяться им в лицо. Он повторил, что профессия его — сварщик, правда, только третьего разряда, и что он хотел работать по специальности. Его пожелание было куда-то записано. Но деньги давали не тем, кто искал работу, а только людям, ее потерявшим, так что вышел он оттуда в парижский мир богаче не деньгами, а отчаянием.

Ирония судьбы: тепло душе и спокойствие нервам ему давал не французский паспорт, доказывающий, что он свободный гражданин свободной страны, а московское пальто, тяжелое, верное и вот этот русский мост, под которым он ляжет и забудется до никчемного утра.

До падения темноты на Париж оставался пустяк времени. Последний свет поворачивающейся земли под ногами ударял в грязную воду Сены, скользил и, пробив насквозь двух бродяг-клошаров, прижавшихся спинами к парапету, уходил в камень, в город. Они сидели, эти клошары, в одинаково неподвижных позах. Возле каждого стояла пластиковая бутылка красного вина. Один клошар был толст, другой —

худ. Первый был нагл, второй — грустен... будто чередовались в них два характера нищеты.

Вода Сены стала блестяще черной. Мальцев, усевшись рядом с парижской нищетой, стал третьим бродягой-клошаром.

— Разрешите?

Наглый рот толстяка ответил:

— Валяй, валяй, да смотри, не проморози жопу.

Рот лгал, из говорящих о нахрапистости линий губ выходил добродушнейший голос сытого человека.

Худой и грустный клошар тоже подал голос:

— Вы что, другого места найти себе не можете? Надоело! Не жизнь — сплошное дерьмо.

У этого человека был действительно сходный с лицом грустный голос.

Мальцев, встрепенувшись от неожиданной мысли, спросил:

— А вы полицейских не боитесь? Все же в центре города сидим. Могут нас забрать? А что будет, если нас заберут?

Наглый голос расхохотался:

— Да ты откуда взялся, откуда свалился. Конечно, никто не придет. А если лягавый и придет, то потурит нас на участок своего дружка, с женой которого и спит. Они все такие...

— Да, да, давайте дрыхать, — сказал грустный голос.

В ночи раздался звук вина, проникающего в горло. Затем, наверное без разгона, оба клошара прыгнули в сон.

Мальцев закутал лицо шарфом, но не закрыл глаз — ему вполне хватало одной темноты. Он вновь мысленно сжал руками голову... и мышцы, послушно уловив веление, нудно заныли. Мальцев по-детски обиженно почувствовал боль в бессильно разбросанных руках. Еще и это! За что?

Впервые за много лет по лицу Мальцева потекли слезы. Он вспомнил рыжую голову Свежнева, с трудом терпевшего насилие, человека, любившего мечту о социализме с человеческим лицом и получившим за эту мечту семь лет режима. Что он делает в эту минуту? Спит, небось, себе на положенном месте в лагерном бараке, организм переваривает баланду, мысль отдыхает, подсознание рисует и рисует сны о свободе,

любви, быть может, о том социализме, который не существует... подсознание все может.

Мальцеву не было холодно. Дождь ушел вместе с днем. Еще влажный воздух тепло касался лица. Камень парапета немного охлаждал тело, но это было такой чепухой... Слезы продолжали течь... жалость к себе была острой, болезненной. Происходило то, чего так боялись Галлы — небо падало на голову Мальцева, судьба зло смеялась над ним, а жизнь, казалось, отнимала последние иллюзии.

Зэк Свежнев спал в бараке и наверняка продолжал верить в социализм с человеческим лицом. Ставший свободным Мальцев лежал с двумя клошарами у моста, носящего имя русского царя, и терял веру в себя, надежды, понимание ценности страданий. Французский документ в кармане позволял ему свободно голосовать, свободно разъезжать по миру, свободно переезжать с квартиры на квартиру, свободно говорить, орать, писать... свободно, свободно, свободно. Будь все проклято! Он, Мальцев, лежал здесь — и завтра, если полиция не заберет, нужно будет найти что-нибудь поесть.

Было же еще не так давно существование, лишенное проблемы выбора. Была комната-квартира на улице Ленина. Ни съехать, ни переехать. А если разрешат — дадут то же. Квартира — собственность государства, ты — собственность государства — и никаких забот. Была работа как работа. Главное не перевыполнить норму, иначе понизят расценки. Работай, как все, побольше перекуров, много болтовни и поменьше пота. Усилия не вознаграждаются, покорность — иногда, но лучше, главное спокойнее, быть где-то между услужливым рвением и равнодушной покорностью. Частая смена предприятий пачкает трудовую книжку — начальники отдела кадров этого не любят, и, кроме того, одно предприятие похоже на другое, завод на завод, фабрика на фабрику, расстояние между ними в десять тысяч километров ничего не значит... все — собственность государства, и ты собственность в этой собственности, и все заранее предопределено. Коммунизм или не коммунизм — один черт, хрен редьки не слаще. Те, которые знают или чувствуют, что им суждено

добраться до первой ступени иерархической лестницы — те карабкаются, скользят, топят и давят других, думая при этом, что живут, а не существуют. А, может, желание быть рабом освобождает от рабства?

Люди голосуют. В назначенный день одевают выходной костюм, идут, берут бумажки, важно опускают их в урну и выходят полные собственного достоинства. Почти никто не знает фамилий кандидатов. А зачем? Они тоже собственность государства. Хорошо тому, кто не видит своих цепей, кто не подозревает об их существовании. Он счастлив. Тому человеку бы холодильник да денег собрать на отпуск. Другому — немного бы хрустала в доме и счастье с порога — да в комнату. Воистину счастлив человек, не знающий о существовании свободы.

А он сам, Мальцев, разве он не был счастлив... рыбалка, охота. Не было проблемы выбора. Не было веры в бога или в коммунизм — все одно. Не было и безверия. Была крыша над головой. Был хлеб, да, да, был. Антисоветская это пропаганда говорить, будто хлеба нет. У нас в СССР последний раз помирали от голода в начале пятидесятых годов. После — нет.

Последние слова Святослав подумал с яростью, будто спорил с каким-либо французом. Ему, Мальцеву, дали проблему выбора, он увидел свои цепи. Понимание свободы кровавым потом выпучивалось из мозга и, рвя цепи, добралось до языка. Мысль стала словом, слово — действием, и вот — он здесь, у парижского моста, ночью с двумя клошарами. Что говорить? Кому орать? И вечно русское — что делать? Вот как бывает: беспомощность рук стынет на плитах набережной, и это же бессилие сильнее всякой силы сжимает виски отчаявшегося человека.

Мелькнула сквозь слабость — внутреннее зрение видело ее серой — мысль-зацепка: "А, может, пойти назад... вернуться? Ну, посадят, ну, отсижу, а там видно будет. Что будет видно? Что опять нужно бежать?"

Клошары храпели ровно, без страдальческих присвистов нездоровых от безалаберной жизни людей. Они были спокойны, подсознание не грызло снами нервы. Спят себе в центре

столицы, чтобы, проснувшись, поносить и поносить власть. Серегу бы сюда, вот где он пожил бы!

Сержант Серега, как говорили соседи, уже более тридцати лет ежедневно скакал по улице детства Мальцева к Волге. Одна нога — протез, другая — от земли до культи из воздуха, зато под мышкой отполированный костыль. На груди сержанта Сергея бесшумно болтались медали и чем-то дышали ордена. Над ними смеялись: в конце шестидесятых годов не было человеку выгоды напоминать о своих былых подвигах на фронте, потому и хихикали. Он спускался к пристани в своей бессменной гимнастерке и часто часами что-то говорил реке. Когда бывал болен или устал — не спускался, усаживался на обочине дороги и переговаривался с водой издалека. Одна бабка из соседнего двора любила-потешалась рассказывать, как избежал сержант Сергей через год после окончания войны государственной кары за то, что у него погибла семья, а сам стал калекой. Тогда, говорила бабка, всюду ездили люди от советской власти и хватали бездомных инвалидов, портящих своим видом государству настроение. Голод был, страна отстраивалась, и эти горемыки были как-то ни к чему. Всех забрали, и никто назад не вернулся. А Сергей спасся. Он как увидел тех людей в "газиках", сразу шмыгнул за штабель дров, протез свой небрежно высунул, на плечи сушившийся на веревочке пиджачок накинул, стал как хозяин поленья перебирать. Те люди и не заметили, уехали... так и остался Сереженька единственным одиноким калекой района.

Сколько раз забирали за все святославское детство и отрочество сержанта Серегу в отделение милиции — Мальцев не помнил. Никто не считал. Но последний раз Святослав удивился необыкновенному: когда два румяных милиционера со смехом закидывали инвалида в воронку, медали на груди дяди Сережи зашумели, не звякнули, а как-то стонуще позвали друг друга. Тогда Святослав был уже болен свободой — потому и услышал.

Мальцев пошевелился... чувство неприязни к сытым клошарам появилось неожиданно, но Святослав был почти уверен, что звал и ожидал его, это чувство. Вот сравнил сержанта

Серегу и этих двух сладко храпящих существ — и сразу стало легче на душе и немного стыдно за минувшую слабость. Божественное сравнение. И проклятое. Именно появление сравнения было первым симптомом заразного заболевания, называющегося свободоманией. Нет сравнения — нет сомнения. Был бы теперь Мальцев по-прежнему счастливым рабом, героическим рабом, готовым защищать собственные цепи, готовым по приказу надевать их на чужие тела и мысли, хотя бы этих самых французов. Не было бы поисков наименьшего зла, не было бы броска в свободу. Что с ней, кстати, делать?

Образ сержанта Сереги дал Мальцеву каплю бодрости, но беспомощность перед чужим миром все же не хотела уходить. Знание французского языка не помогало, а отсутствие иностранного акцента только подчеркивало нелепость житейской ямы, в которую он попал. Давеча Мальцев зашел в кафе и попросил:

— Соку.

Ему же дали чашку кофе. Откуда он мог знать, что нужно заказывать фруктовый сок, потому что слово "сок" по-блатному означает "кофе". На него тогда смотрели насмешливо и еще как-то странно, оскорбительно.

А автобусы, чтоб им... Он стоял как бедный родственник на остановке и смотрел, как один за другим они проплывали мимо, не останавливаясь перед его белыми от ненависти глазами. Откуда он мог знать, что нужно поднять руку? Он был свободен, а все вокруг унижало, оскорбляло, издевалось над ним.

Еще древние китайцы говорили, что нет ничего страшнее для путника неведомых мелочей.

Мальцев уснул без снов. Короткое забытие не принесло ему сил, но рассвет цвета пролившегося на землю молока потребовал у неподвижного тела движения.

Продолжали храпеть клошары, ставшие уродливыми и несчастными под видимым небом.

Нужно было что-то делать. Голод — не тетка.

2

Побрившись на ходу механической бритвой, купленной когда-то в Ленинграде, самом нелюбимом им русском городе, Мальцев ускорил шаг, двигаясь на доносящийся гул. Посередине открывшейся ему площади возвышалась каменная лжегреческая женщина. Площадь была наполнена возбужденным народом, живые колонны продолжали вытекать из улиц. Люди орали: долой! надоело! Выступающих с громкоговорителями никто не слушал. Молодежь, добравшись до ног каменной женщины, довольно-таки похабно жестикулировала.

На лжегреческую бабу никто не обращал внимания, все упивались своей собственной вольностью. Вблизи от Мальцева происходило совсем непонятное: кучка полицейских защищалась от группы парней, вооруженных дубинами, цепями, камнями. Несколько "лягавых" было уже ранено. На головах парней ладно сидели мотоциклетные шлемы. Это было настолько неправдоподобно, что Святослав сначала не захотел поверить своим глазам. Полицию избивали демонстранты! Что же это за государство, позволяющее всякой анархии избивать своих людей? Почему такое? А, может, на Западе так и положено, может, это и есть демократия? Но как все это может держаться? Вопросы сталкивались, ответы не рождались, только из глубин его существа поднималось одинокое безапелляционное решение, и Мальцеву только и оставалось беспомощно наблюдать, как, подобное глисту, выползало оно, спокойное, тихое. Одновременно Мальцев наблюдал чувствами за своим лицом: твердели желваки на скулах, глаза пустели, губы кривились презрением:

— Подумаешь, раскричались, сосунки. Разбушевались, видите ли... сюда бы взвод. Да что там взвод... моего бы отделения хватило. Даже без пулеметов бы обошлись. Несколько автоматных очередей, несколько десятков трупов — и дело в шляпе. Остальных и пульей нельзя было бы догнать. Чего цацкаться...

Ход мыслей Мальцева прервал шлемастый малый — от-

ступая, он ударил спиной грудь Святослава. А-а-а! Радость бешено бросилась в руки. Нашлось, наконец, на ком сердце сорвать. Сжатый кулак Мальцева, описав дугу, ударил в шлем парня, как раз в то место, под которым скрывался висок. Парень упал; как противник поднимался на ноги, Святослав не видел, движение толпы унесло его. Может, затопчут — мелькнуло удовлетворительное предположение.

Уходя, Мальцев оглянулся на каменную женщину, ненужную этим людям, желающим непременно что-то свергнуть, сопротивляющимся наименьшему злу... А, может, не во Франции оно? Святослав прочел название площади: Площадь Республики. В республике и на площади республики у памятника свободе люди, требуя свободы, избивают полицейских?

Навалилась усталость. Мальцев спросил себя: куда я пошел? Начала болеть голова. Она трещала хуже, чем с перепоя. В глазах появились злые слезы отчаяния. Чего бы он только не отдал, чтобы увидеть в Москве, Мурманске, хоть на Чукотке, подобное тому, что только что происходило на этой площади... может быть, и жизнь — лишь бы увидеть рачок.

Но и стрелял бы в эту толпу, здесь свободных, а там внезапно освободившихся людей. "Человек ты человек, — пробормотал Мальцев, — вот она двойственность творенья. Я там, в Союзе, был болен свободой, а теперь несвобода не отпускает меня. Вот ударил парня — хорошо хоть, что в шлеме он был. Бедняга, так ничего и не узнает. Он, наверное, лопнул бы от удивления, если бы сказали ему, что не переодетый полицейский, а человек, только-только сбежавший из-под железного занавеса, врезал ему по мозгам."

Мальцев постарался улыбнуться, но лицо было непослушным. Он не понимал ни себя, ни мир вокруг. Себялюбие, гордыня, так помогавшие ему все эти дни, таяли. Он не хотел более сопротивляться своей душевной усталости... и он был очень голоден.

Святослав нашел, наконец, скамью — их оказалось мало в Париже, а урны на улицах почти отсутствовали. Противно было первые дни кидать окурки и прочее на мостовую. Маль-

цев знал: глупо, будучи в гостях, ругать хозяев за все им свойственное и тем более навязывать, даже неслышно, свое. Но гость ли он? Ведь родился в этой, слишком чистой в мечтах, стране, встал впервые на ноги в этом городе, именно французский язык проник в его детский мир. Но там, в Союзе, из чувств он был вытеснен русской речью. Мозг продолжал воспринимать французский, но родным он уже не был. Так ты, Мальцев, и перестал быть человеком из этой страны. Народы живут не землей — языком своим. Иудеи тому живое доказательство. А чем, в сущности, другим отличается народ от человека, если не многоликостью? Противоречивости в человеке не меньше, чем в сотне народов. Мальцев, не цепляйся за случайное — место рождения. Пойми, ты здесь появился на свет, но ты здесь — прохожий, не более. Ты — иммигрант. Дерись за место под здешним солнцем.

Так Мальцев уговаривал Мальцева немного опустошить то место в груди, где была гордыня, чтобы наполнить то место в желудке, где должна была быть пища на сегодняшний день.

Рука вытащила записную книжку, перелистала; глаза нашли нужную фамилию: Булон; и только тогда Святослав признался себе в том, от чего отказывался последние дни — он не смог оправдать в собственных глазах звание вольного человека. Он оказался бессильным, как щенок, перед внезапной свободой. Десятилетия существования в Советском Союзе так не унизили его, как последние несколько дней жизни. Он будет вынужден умолять о помощи. Не он — свобода согнула его и взяла себе на потребу. Он оказался слабым.

Господин Булон был долгое время крупнейшим колониальным чиновником. Теперь — всего-навсего сенатор, Так, давая адрес и номер телефона этого человека, говорила Мальцеву мать. Слова произносила с внятной иронией: "Когда-то мы были друзьями, учились вместе. Наши пути разошлись. Но наш мир глуп, быть может, он тебе и поможет".

Тогда в Ярославле ирония матери казалась понятной: коммунистка и чиновник французских колоний!

Теперь в окружающем его безумном мире все было расплывчато. На одной лестничной площадке соседствуют коммунист и антикоммунист — для Мальцева эта мысль была столь же дикой, как вера в загробную жизнь.

Промучившись с телефоном более получаса, Мальцев наконец дозвонился. Ответил безликий женский голос. Его заменил также лишенный своеобразия голос мужчины. Из трубки так и воняло канцелярским равнодушием. Мужской голос сказал Святославу, напрягающему мышцы руки, чтобы не податься искушению бросить трубку:

— Так вы значит Святослав Мальцев? Я вас помню совсем крошечным. Думаю, вы хотите со мной встретиться?

Из двух голосов первый, женский, вероятно, принадлежащий секретарше, вдруг показался Мальцеву чуть ли не родным. Поговорить бы с ней о погоде — помечтал он, выталкивая из сухого горла трудное:

— Да.

— Знаете ли, я всю неделю буду занят, так что, если у вас сейчас найдется свободное время, мы бы могли вместе пообедать. Так я вас жду.

Булон жил на улице Тильзит. Название для русского не очень приятное. Было бы лучше Бородино — мрачно размышлял в метро Святослав. Бородино и для русских и для французов — большая победа. Каждый врет по-своему — и все рады.

Было душно в метро в московском пальто, но снимать его Мальцеву не хотелось, — оно как-то защищало хозяина от Запада, через него трудно проникал парижский дух. Город словно обтекал пальто. Нужно ли было бежать, чтобы теперь бояться Парижа?

Лицо Булона было столь же безлично, как и его голос, но что-то явно отличало этого человека от многих тысяч французов, встретившихся на пути Мальцева. Он обладал особой безликостью. Определение мелькнуло, но объяснение определения не пришло; так, мысль попыталась зацепиться, найти опору, развернуться — да тут же и бросила...

Большая квартира, набитая гобеленами, на Святослава никакого впечатления не произвела, в ней не было необходи-

мой для красоты уюта небрежности. А вкус без капли небрежности — не вкус. Этому Святослава научили в детстве, он в это поверил, затем, борясь с верой, захотел опровергнуть... не удалось. Так и осталось.

Уже в машине Мальцев подумал, что квартира похожа на хозяина, то есть безлична. Святослав был уверен, что подобные люди часто встречаются в Советском Союзе; он там их видел. Но где, где он мог встретить в Ярославле, Москве или Ленинграде людей, внутренне похожих на французского сенатора?

Булон вел свой черный автомобиль без лихости. На его гладком лице была маска мягкой задумчивости — с подобной расслабленностью, черт, гуляют, забыв о времени, люди по лесу. Мальцев автоматически про себя отметил, что человек с такой здоровой, как у Булона, кожей, по всей вероятности, никогда в жизни не недоедал. В этом не было, правда, ничего зазорного, и все же... сытый голодного не разумеет. Мальцеву было приятно знать заранее, что с Булоном найти общий язык он не сможет.

Сенатор, не отвернув взгляда от ветрового стекла, сказал:

— Я Вас представлял ниже ростом и уже плечами. Вы гораздо длиннее ваших родителей. Вы, наверное, часто ели Там гречневую кашу. Каша — ведь Там основное блюдо, не так ли?

— Нет. В Советском Союзе очень трудно достать гречневую крупу. Она — дефицит.

— Неужели?

Голос сенатора поруководил ноткой удивления, затем произнес:

— Кстати, мы как раз проезжаем мост русского царя Александра III. Мальцев едва не задохнулся, едва не выругался матом. Он сдержался, но желание поставить сенатора в неловкое положение появилось сразу. Выпалить скабрзность? Сказать с присвистом пошлость? Автомобиль был излишне чист, старик прилизан, а он сам, Мальцев, слишком уж не на своем месте. Он все же заставил себя произнести:

— А кто первым поднял трубку, когда я вам позвонил. Я только отметил, что красивый женский голос. Ваша секретарша?

Договорив, Святослав устыдился своей беспомощности. Неприятное чувство к этому, давшему ему свободу, новому миру продолжало расти. Булон с вежливой улыбкой ответил:

— Нет. Моя младшая дочь. Она будет рада с вами познакомиться. Вы много интересного сможете поведать ей и ее друзьям.

Наверное, дура и блядь, подумал Мальцев.

Автомобиль остановился. Справа текла Сена к Нотр-Дам, слева стоял опрятный большой дом — угадывались толстые стены. Это был ресторан "Серебряная Башня". Один из самых шикарных в Париже. Мальцев о нем читал в каком-то романе.

Столик почти прикасался к окну. Был виден, как на ладони, собор. Но обилие вилок и ножей убивало то малое эстетическое, что оставалось еще в Святославе. Поколебавшись, он решил пользоваться одной вилкой и одним ножом и вообще вырешил, плюнув на все и вся, не есть, а жрать. Пусть любуются!

На лице сидящего напротив Булона вырисовывалась гримаса удовлетворения. Он смотрел на Мальцева с явным удовольствием.

— Знаете ли, Святослав, я давно, еще будучи студентом, мечтал пригласить вашу мать в такой вот ресторан. Мне тогда казалось, что это должно ослепить ее. Я хотел спасти молодую девушку от глупостей. Не вышло. Мы не стали врагами, хуже, чужими. Недавно, после стольких лет, я вновь встретил Мальцеву и вновь пригласил ее в ресторан, этот самый. Она вновь отказалась. К вашей матери у меня, Святослав, необыкновенное чувство. Она была сильной женщиной...

Голос сенатора был по-прежнему ровен, только в глазах появилось легкое выражение ласковой задумчивости. Мальцев еще раз всмотрелся, постарался вспомнить. Точно! Булон никогда не смотрел человеку в глаза, его взгляд упирался в кость лба. Ну да, он же государственный чиновник. Биологический отбор. Как он сразу не догадался? Меняются политические режимы, системы, века текут, а государственный чиновник остается государственным чиновником. Век — случайность. Авторитарный, тоталитарный или буржуазно-либераль-

ный строй — тоже случайность. Раса, пол — не имеют значения. Глаза, лицо, вернее, его скрытое выражение, мир чиновника государства остаются неизменными. Разницу может принести только одно — степень силы государственного аппарата.

Везде, в советских министерствах, на крупных предприятиях, в обкомах партии, Святослав Мальцев видел лицо французского сенатора: худое, толстое, узкое, квадратное, длинное, короткое, — но все же его. Нужно было для этого лица случайно попасть всего-навсего на определенную ступеньку иерархической лестницы. Булон продолжал говорить:

— ...И вот я сижу с вами, с ее сыном. Простите, но это для меня маленькая победа. Услышав ваш голос, я сразу подумал о ней, о моей этой карликовой, но победе.

Мальцев, пытаясь разобраться в возникших противоречивых чувствах, не заметил, как стол оказался нагруженным нагретыми тарелками. Салат, мясо, картошка — все таяло во рту. Вино приятно лилось, давало силу. Несмотря на то, что Святослав делал одно — утолял голод, тонкость вкусовых ощущений охватывала небо. Он легко признался, что никогда в жизни не ел ничего подобного. Насытившись, Святослав продолжал есть. Говорят, что в еде прячутся тайны цивилизаций. Не подозревал Мальцев, что в поджаренном куске мяса могло таиться столько удовольствия. Несмотря на то, что он, защищаясь от окружающего блеска, нарочито громко жевал, скрежетал ножом о дно тарелки, внимания на их стол не обращал никто. И вместе с тем он чувствовал, как его мышцы напрягались, как все его существо ожидало нападения. А обороняться было не от чего. Наваждение продолжалось.

Булон продолжал глядеть на кожу, покрывающую кость его лба. Святослав спросил:

— Если моя мать была сильной, почему же она повесилась?

Прилизанный старикан-сенатор сморщился:

— Видите ли, она сделала то, что сделала не по душевной слабости. Вашу мать настигла самая неприятная для интеллектуала болезнь — скука. Эта хворь для подобного разряда людей неизлечима. Она просто боролась со своей болезнью до конца и прибегла к радикальному методу.

Люди часто играют словами, выдавая их за мысли. Булон

высказал не общепринятое суждение. Этот чиновник может себе позволить говорить то, что думает. По нему можно судить о силе французского государственного аппарата. Сенатора не отучили самостоятельно думать, более того, слежка за чиновниками, за их частной жизнью — видимо, в этой прекрасной стране не является столь важной, как у нас, государственной необходимостью. В конце концов у правителей нет общего и радикального лекарства против дремлющей в чиновниках опасности, кроме бдительности и разделения. Нужно признать, что советского и французского чиновника разделяют друг от друга неравномерные силы их государств. Наш чиновник, родился он в рабочей, крестьянской или интеллигентной семье, вступая на первую ступеньку иерархической лестницы, получает власть. И лишается всего другого, даже права на нормальную семейную жизнь. Он не просто принадлежность государства, как все остальные, он — промежуточное звено между гражданским обществом и Властью.

В силу отсутствия оппозиции и частной собственности на средства производства советский чиновник не может, даже если бы захотел, вернуться к гражданскому обществу, откуда он родом. Государство, которому он служит, руководит всеми институциями страны, экономической, культурной и прочими жизнями. Тоталитарность власти лишает чиновника проблемы выбора. Не уйти, не отойти. Он должен стараться подняться по иерархической лестнице и пытаться не скатываться по ней вниз.

Советскому чиновнику легче, чем другим, перестать со временем улавливать искусственность построения пирамиды Власти, основанием которой служит система распределения. Искусственность присуща им всем, все получают тождественное образование, индивидуальная мысль каждого, проходя через обязательное государственное образование, выходит подчиненной одной общей системе связей, одному мировоззрению. Чиновник, претерпевая насилие, тут выраженное в многократном преломлении действительности, уже сам искажает действительность, вызывая удобное и нужное для власти смешение понятий. Так, советский чиновник все непосильное своему разуму и компетенции должен разрешить

согласно установленным догмам, например, непосильное объявить посильным; следовательно, он, сам того не желая, перемещает себя и своих подчиненных из действительности в некий отобранный, кажущийся мир.

Размышление Мальцева о родных советских чиновниках бежало и бежало под шумок ровного голоса французского сенатора. Приятное вино лилось ручейком в глотку Святослава. Собор за окном светлел, европейски легкое небо синело, скатерть стола белела, лицо угощавшего его человека хорошело, а мысль все скакала-рылась в поисках доказательств жизни искусственного мира советского чиновника. Вот Коробов, хороший, в общем, человек. Мальцев знал этого директора совхоза. Его совхоз — треть Франции. Сам Коробов из крестьянской семьи, голодал в детстве, затем кормился с отцовского приусадебного участка. Ну как забыть: кончалась необозримая глазом государственная земля — пшеница на ней едва-едва закрывала колено. Начинаясь участок отца — там в пшенице мог, не сгибаясь, спрятаться взрослый человек. Став чиновником, Коробов стал совершенно искренне расхваливать преимущества коллективной собственности. И искренне ругал крестьян за лень, и искренне не видел того, что видел раньше, — богатых результатов труда человека, работающего на себя. Коробов в конце сороковых годов с чистой совестью расстреливал крестьян за экономический саботаж, чтобы в конце пятидесятых с той же непомянутой совестью жалеть о перегибах времен культа личности. Мальцев хорошо его помнил, хорошего человека, совсем по сути незлобиво. Так уж... советская собака может сменить хозяина, советский чиновник — нет, и тут ничего не поделаешь...

Святослав опомнился, огляделся. Булон как раз, будто нарочно, произнес слова, и Мальцев их услышал:

— А государство ныне ослабело. Быть может, по нашей вине. Государству нужно было вести в колониях другую политику. Необходимо было сделать из местного населения колоний потребителей. Я пытался, но мне Париж мешал и мешал, не давал. Мальцев сказал Булону:

— Да.

А что "да?". Сытость растекалась внутри тела, вызывая лень. Тянуло на дрему.

Что, в сущности, он мог еще сказать этому сенатору? Что он там еще бормочет?

— ...Я пытался объяснить свою жизнь матери вашей. Отказалась слушать, от всего отказалась...

Чиновник гордится своей попыткой непослушания Власти. Только этого еще не хватало. Он, видите ли, хотел... Власть, конечно, бывает обязана допускать иное, чтобы соблюсти приличия, но допускать жизнь свободомыслия у чиновника — это уж слишком. У нас чиновников создают в канцеляриях Москвы, и они от средних до крупных зависят от канцелярии, действие которой постоянно. Чиновник благодарит произвол, когда он дает, и его отучивают его ненавидеть, когда он бьет. Такова абсолютная власть. А этот Булон не зависел полностью от государства, он мог уйти и отойти, он мог вернуться к частной жизни. Он жалеет о слабости государства... радоваться надо. Большой государственный чиновник, имеющий свободу вернуться к частной жизни, это явно попахивает наименьшим злом... да, да.

Советскому чиновнику необходимо на первой стадии учения доказывать свою ученость буквальным повторением заученного, на второй стадии перейти к рассуждениям по поводу текстов, но никогда, даже возомнив о себе, не переходить государственные нормы, определяющие чиновничий разум. Оспаривание одной-двух истин расценивается как опасная глупость. Игра мысли для чиновника — неизлечимая болезнь...

Ну, Наполеон, еще куда ни шло, да и то... дальше Мациавелли никто не пошел. Говорят, как об ужасной тайне, что подвиг — это убийство слабых и несчастливых; победа — грабеж; величие — насилие над совестью себе подобных. Чиновник династии Цзинь улыбнулся бы подобному — очевидное знают, о нем не говорят. Нечестной мудрости не существует. Дело не в пролитой крови и смерти, а в их выгоды. В Европе люди никогда сами не копали себе могил, чтобы прежде, чем лечь в них, славить имена своих палачей.

В Россию высшая мудрость государственного управления,

закрывающаяся в беспощадности к невинным, пришла из Византии, тайно сопровождая религию, и из Китая с монголами. Европа в нас боролась, иногда побеждала, но окончательно победить так и не смогла. А ведь Европа, об этом частенько забывают, обрывается на Урале.

Булон, чиновник слабого Государства, начинал нравиться Мальцеву. От выпитого вина у сенатора ослабели мышцы лица. Он продолжал говорить о матери Святослава, как мальчишка, покинутый своей первой женщиной.

Эх, старикан ты старикан, подумал сытый Мальцев. Было все же странно, что этот сенатор-чиновник помог ему напасть на след наименьшего зла. В конце концов Булон его накормил, тоже неплохо. Нет, не так уж дурно жить. А если уж он так любил покойницу мать, то может на ужин деньжат подкинет?

— Простите, вы бы не могли мне одолжить несколько сот франков. Я, знаете ли, только приехал, еще не устроился: нет ни работы, ни квартиры.

Булон грустно взглянул на испачканную скатерть. Он, видимо, жалел, что были столь прозаично прерваны его воспоминания, и именно тем, кто их вызвал:

— Сожалею. Я принципиально не одалживаю денег. Сожалею.

Мальцев добродушно кивнул головой:

— Это славно иметь твердые принципы.

Было удивительно глупо, но Святослав не обиделся. Ему даже захотелось хихикнуть, словно он каким-то образом оставил Булона в дураках.

На улице сенатор спросил, как он сможет найти Мальцева в будущем. Наверняка дочь захочет пригласить на вечеринку.

— Бриджитта будет настаивать.

— Пускай напишет до востребования на главпочтамт, — посоветовал старику Святослав. — Нет, нет, я пройдуся. Прощайте.

Глядя на отъезжающую черную машину, он пробормотал:

— Бедный дядька. Принципы у него. Двухсот франков не дал. И я его еще хотел унижить... п-ф-фэ!

Долго стоял Святослав Мальцев, любуясь собором. Ресторан "Серебряная Башня" остался за спиной, и оборачиваться не хотелось.

3

Мальцев очутился к началу глубокой ночи на многолюдной маленькой площади. Прочел "Пигаль". Порылся в памяти — ничего не нашел. Более суток прошло с тех пор, как Булон угостил Мальцева обедом в одном из самых шикарных ресторанов этого большого города. Погуляв до темноты, Святослав вернулся к знакомому мосту. Клошаров не было. Но одиночество не давило. На дворе потеплело, тело не кричало о пище. Он спал до утра сном человека, относящегося с уверенным равнодушием ко всему.

В полдень следующего дня Мальцев смотрел, как старуха кормила лебедей в парке Монсо. Сев на лавку, он закрыл глаза и долго их не открывал. Несмотря на то, что под веками проходили одна из другой одинаковые флегматичные спирали, отчаяние острой болью крутило внутренностями. Было спокойно и больно, и Мальцев подозревал, что если оба эти ощущения соединятся в нем, — что-то произойдет, быть может, непоправимое.

Он знал понаслышке, что равнодушие не может жить с болью отчаяния. Такое — нечеловечно.

На этой площади Пигаль светились неоновые огни "секс-шопов". Мальцев, не сумев перевести на русский язык "секс-шоп", — сексуальный магазин звучало бледно — тем не менее знал, что в них находилось, и потому побоялся зайти. Ему и так давно хотелось... Ходи потом, как дурак, со вздутыми брюками.

Мальцев стоял на углу площади. В горле образовывался комок. Хотелось разрыдаться, уткнуться в чьи-то теплые колени, почувствовать ласковую руку на своих волосах. Он столько лет гордо отказывал себе в праве влюбиться, чтобы его никто не ждал, чтобы он не страдал от разлуки... теперь некого было вспомнить, ни в одних глазах он не мог вообразить нежность понимания, сильное участие сильной женщины.

Он свернул, углубился в лабиринтик кривобоких улочек. Запахло грязной жизнью. Чем дальше шел Святослав, тем безлюднее становились тротуары, звонче шаги... равнодушные и отчаяние бродили в Мальцеве в поисках друг друга.

Плечо толкнуло что-то живое. Двое молодых людей маленького роста выражали нечто умоляющее. Их слушал высокий парень. Мальцев, не извинившись, хотел продолжить путь. Его взгляд встретил четыре глаза с расширенными зрачками. Малорослые ребята явно не хотели дать ему пройти. Длинный парень спокойно отступил, перешел на противоположный тротуар. Один из маленьких человечков сказал Святославу:

— Ты хочешь сдохнуть? Давай-ка быстро деньги, часы, кольцо. Ну?

Это было сказано на труднопонимаемом для Мальцева жаргоне. Но он понял и начал думать. Во-первых, у него не было ни денег, ни часов, ни кольца. Во-вторых, они начинали ему действовать на нервы. В-третьих, эти суки, судя по зрачкам, накурились "дури" — рефлекс у них, следовательно, никудышные, да и вместе они весили не больше ста килограммов. В общем, гнилая шантрапа.

Мальцев привык презирать людей, предпочитающих водке наркотики. В армии он курил анашу, чтобы спастись от голода и мороза. Там было иное, наркотики служили для спасения тела.

Когда Святослав протянул руку, чтобы отодвинуть в сторону мешающую ему пройти человеческую рухлядь, — рухлядь ожила. Один вытащил нож, другой — короткую цепь. Вид направленного на него стального лезвия вызывал сызмальства — с первой же кровавой встречи — в Мальцеве истерический страх, мгновенно перерождающийся в крайне злобную отчаянность. Не сжатая рука, изменив направление, ткнулась в лицо маленького человечка с ножом — один из пальцев ударил в глаз. Руки парня еще не достигли больного места, как колено Мальцева ударило противника в пах. Свист цепи второго француза заглушил шум падения тела. Удар пришелся по Святославовой спине и был смягчен тяжелым московским пальто. Человечик с цепью не успел выпрямиться,

классический удар по печени заставил его согнуться. Свято-славу осталось только взять его двумя руками за волосы и нанести два удара коленом, между глаз и под подбородок. Во время драки Мальцев успел, оглянувшись, убедиться, что отошедший на другой тротуар высокий парень был ему неопасен: небрежная поза и расслабленность тела говорили, что он зритель и только.

Не имея привычки драться с наркоманами, Мальцев упустил из виду, что они менее, чем нормальные люди, подвластны боли. Это едва не стоило ему жизни, но ему вновь повезло. Живая рухлядь с ножом встала на ноги. Лезвие в дрожащей руке вонзилось в спину Мальцева, натолкнулось на кость, соскользнуло. Повернувшись, Мальцев, потерявший от страха желание оставлять кого бы то ни было в живых, увидел в темноте кровавый глаз шатающегося парня и одну из его рук, бережно охраняющую член. По ней Святослав и ударил концом ботинка. Человечек не успел поднять нож. Впервые за секунды драки раздался вопль. Длинный. Лезвие упало, тело начало медленно сгибаться. Левая рука Мальцева ударила терявшего сознание паренька по лбу, в то время как кулак правой руки, выброшенный усилием девяностопятикилограммового тела хозяина, понесся к горлу. Ужас в Святославе был, вероятно, слишком силен. Кулак вместо того, чтобы убить парня, сломал ему ключицу. Не как в Мурманске.

Спокойный длинный человек перешел улицу и подошел к Мальцеву, когда тот, разбивая подошвой лицо лежащего парнишки, избавлялся от все не уходящего страха. Человек сказал:

— Перестань. Ботинки испачкаешь.
Как в американских романах.

Мальцев выпрямился, глубоко вздохнул, так, как люди делают от избытка чувств.

Он был готов на все, готов был продолжать, лишь бы бродившее в нем отчаяние не нашло пустоты.

— Что вам нужно. Вы с ними, что ли?

— Нет, нет, я ни с кем. Эти два кретина были моими мелкими должниками. Так им и надо. Ты их здорово разделал.

Зрелище было замечательным. У меня машина тут. Я тебя доставлю домой.

Мальцев хмуро ответил:

— У меня нет дома. Я нигде не живу. Об этом долго рассказывать. Ты ни с кем, а я нигде не живу.

Длинный человек огляделся по сторонам:

— Пойдем-ка отсюда. Могут лягавые появиться. Здесь обычно бывает тихо, но кто его знает...

Отчаянье не нашло пустоты. Вновь хотелось есть, спать, забыть о настоящем. Он уселся в машину с тоскливой мыслью: "Вот тебе и поиски наименьшего зла".

Узнав, что Мальцев русский, длинный человек резко затормозил:

— Ну? Я ведь болгарин, болгарского происхождения. Тодор Синев я. Так мы, значит, славяне с тобой. Здорово! Будешь у меня спать. После разберемся. А ты пока расскажи, что у тебя произошло.

Синев слушал Мальцева внимательно, не прерывая. Потом покачал головой:

— Понимаю. Там свободы нет. Но и здесь не сладко. Все сгнило. Ничего хорошего тут нет. Но мне плевать! И на коммунизм, и на социализм, и на капитализм. Я живу для себя и до конца мира. Стараюсь поменьше работать, побольше отдыхать. Повкалывать еще успеешь. Все не так уж и плохо в жизни. Я тебе помогу. Как славянин славянину. Как другу. Такой парень, как ты, нигде не пропадет. Как ты их разделал, как разделал! Не бойся, Тод все устроит. Будешь пока жить у меня.

4

Он ощущал себя в этом чужом, местами вообще не спящем городе, как во время богатого спокойствием отпуска. Только охватившему Мальцева приятному бездумию мешала порой будившая по ночам навязчивая мысль, что ему грозит опасность.

Приютивший его француз болгарского происхождения держал себя радушным хозяином. Проснувшись поздно утром,

Святослав бродил по трехкомнатной квартире Тода, готовил себе в сверкающей кухне завтрак, выпивал стакан ледяной водки, затягивался сигарой и думал, что не может же на самом деле честный человек обладать вот так трехкомнатной квартирой. Кроме того, Синев как-то небрежно бросил, как в колодец, слова: "Я делаю дела". Они сделали бульк, эти слова, и затаились в возрастающем недоверии Святослава к этому человеку. Вечерами Синев приводил распутных молоденьких баб — у некоторых были расширенные зрачки, — вытаскивал из холодильника бутылки, пил и повторял время от времени, что необходимо быть милым с советским гостем. Мальцев, пьянея только телом, всматривался в Тодора, в его длинное, не лишенное смазливости лицо, с неясной ему самому тревогой. С наступлением ночи Синев указывал одной из девиц на Мальцева... эти француженки Святославу явно не нравились. Они чересчур искусственно метались по кровати, еще не почувствовав тяжести Святославова тела, начинали кричать страстными голосами глупые слова, называть его цыпленком, капустой... да и вообще они торопились, жадничали, принимая любовь за взрыв, неистовство. Из их тела была исключена нежность, без которой страсть суха.

Утром Мальцев брезгливо отодвигался от женского тела и спешил вспомнить необыкновенное, бывшее так недавно доступной простотой. Уходящий Синев хлопал его по плечу, давал денег, жизнерадостно двигался:

— Гуляй. Мне не жалко. Трать. Отдашь, когда сможешь... так для формы подпиши эту расписочку.

Подписанные Святославом бумажки француз запирал в секретер.

Выйдя на улицу, Мальцев долго бродил, глядя на город и прислушиваясь к себе. В нем начинала томиться от жизни очередная метаморфоза — деньги для Святослава становились силой, и он не хотел с ними расставаться. Это было удивительно, странно, ново. Он задавал себе вопрос: "Не становлюсь ли случаем мещанином?"

Мальцеву, его друзьям, знакомым, родным всегда в жизни недоставало несколько рублей: на платье, еду, бутылку. За деньгами гнались, чтобы сразу обменять их на необходимое.

потому и обиденное. Сами по себе деньги не имели ни цены, ни силы — на них можно было обменять-купить ограниченное число товаров. В основном все давала или не давала партия.

Те, у которых было много денег, радовались и страдали. Купив все, что можно было купить, и привыкнув к купленному, страдали от избытка денег, даже получестно заработанных. Что купить? Куда деть плоды пота? За страданием от избытка приходило страдание от страха: власть не любит богатых, от сытости до недовольства — шаг один, быстрый, часто незаметный. Человек должен надеяться на лучшую участь — не искать и не добиваться ее. Поэтому — злая судьба — могут спросить у тебя, а не у соседа, откуда достаток. Поэтому не сосед, а ты покатишься туда, где Макар... Нет, деньги не имели силы и не давали власть. Тут действительно до коммунизма как будто недалеко.

Мальцев вспомнил, как в спорах со своим горемычным другом Свежневом он утверждал, что на земле существовало и существует два и только два рода власти: власть власти и власть денег. Свежнев, разумеется, считал, что должна властвовать справедливость.

Святослав остановился перед уродливым зданием ЮНЕСКО, непонятно зачем покачал головой и излишне громко, будто кричал камню стен, выпалил со злостью: "Потому ты, друг Свежнев, — в лагере, а я — в Париже!"

Мальцев чувствовал, как полны силы эти сотни франков у него в кармане. Деньги были здесь кровью жизни. О них люди говорили с почтением. Их жаждали, не боясь, не презирая за беспомощность. Они могли дать спокойствие и полную уверенность в завтрашнем дне. А то, что они могут быть кое-когда сильнее конституции, — подумал Мальцев, — то не беда, с деньгами легче бороться, чем с властью.

Он был рад понимать.

Это было единственное, что его пока радовало. Остальное было темным, зыбким. То, что со дня прибытия ему довелось не раз бить людей, тревожило, приютивший его француз болгарского происхождения вонял за версту западней. Хорошо, что тот считает его наивным советским парнем. Все-таки

жаль, он оказал ему, Мальцеву, гостеприимство. Не привыкать: око за око...

Собранные деньги Святослав положил в сберкассу. Он уже знал, что может открыть счет в банке, но боялся этого капиталистического слова — банк. Советскому рядовому гражданину госбанк, как волку луна. Мальцев никогда не бывал в подобных учреждениях — проходил мимо ворот и стоящих милиционеров, ощущал неприятное почтение и забывал. Теперь мир перед глазами был другой, чувство — прежнее.

Святослав дождался вечера, когда Синева с невниманием в глазах сказал:

— Слушай, сделай одолжение. Да и тебе же интересно будет. Надо тебе ехать в Турцию. Дам тебе адрес моего друга. Будешь жить у него. Он даст пакет. Дашь его мне. В общем, ерунда, сам бы махнул, да времени нет. Если согласен, выедешь этак через недельку. Как?

Довольно легким усилием заставил Мальцев свой голос остаться прежним:

— О чем речь... это же бесплатная туристическая поездка! Конечно...

Отвернувшись, Синева улыбнулся... Мальцев все же разглядел угол его рта. В кухне Святослав, пробормотав: сволочь, ну и сволочь, — проглотил большой кусок сливочного масла. Поездка в Турцию, расширенные зрачки тех парней, которых Мальцев покалечил, и тех девиц, с которыми он переспал, — все сходилось и выливалось в вывод: его принимали за дурачка.

В тот вечер Мальцев был в ударе, заставлял девиц и Синеву пить по-русски и выбрал себе на ночь единственную французскую, душа которой не принимала хмельного. Выпил он много — масло спасло. Оставшуюся на ногах девицу пришлось утомить не водкой, а собственным телом. Под утро Святослав, добыв из кармана брюк Синевы ключи, открыл секретер, нашел расписки... выходя из квартиры, Мальцев обернулся и сплюнул.

Он был вновь победителем.

Рассвет втискивался в улицы. Мальцев шел размашистой

походкой, но все в нем продолжалось, ежесекундно ожидая нападения, оставаться напряженно-твердым. Он знал себя в безопасности, но привычка была сильнее. "Если не считать тех двух насосавшихся наркотиков самоубийц, эта бывшая столица мира — просто рай земной," — думал Мальцев. На самых темных улицах Парижа, когда ему доводилось встречаться с молодыми веселыми парнями, мышцы напрягались до боли... парни проходили мимо. Однажды хиппиобразный малый его толкнул — и извинился. Мальцев простоял с открытым ртом несколько минут. Где же, черт подери, ежесекундная преступность в этой анархической людной Европе? Люди здесь были веселы, это он видел: ни ругани в метро и автобусах, ни очередей... а главное, создавалось впечатление, что французы не боялись власти. Это было невероятно. Этого Мальцев понять не мог. Старался, силился — и не мог.

Как-то Синева обругал, прямо отmaterил стоящего на перекрестке полицейского. Мальцев сжался, ожидая погони и ареста. Ничего не произошло. Для него не бояться власти смахивало на опасную глупость. В конце концов общество, жившее в демократии и не боявшееся власти, — теряет инстинкт самосохранения. Люди, выбирающие власть, должны ее опасаться, бояться. Пренебрежение к власти рождает диктатуру... не один народ так проморгал свою свободу. Кому-кому, а русскому это известно.

Учредительное Собрание. Первое в истории России. Сдерживаемая царизмом демократия взорвалась и помчалась в Азию. Люди радовались, праздник был повсюду, а с ним бесшабашность. Прозевали.

Окутывая и пронизывая мыслями запрещенное прошлое своей страны, Мальцев чувствовал, как возвращается к нему бодрость. Забытое не существует. А он знал и помнил. Это спасало его от тоски и скуки в самые тяжелые дни жизни. Без крамольных идей Мальцев бы давно уже либо совершил непоправимую глупость — сказал бы, подчиняясь бездумной необходимости, антипартийное чиновничку партии, либо попросту бы спился, как множество других, не знавших, но глубоко ощущающих невыгодность несправедливости.

Шагая по улицам Парижа, Святослав в то утро забыл,

что крамольных мыслей в этой стране почти не существует. Когда он вспомнил, где находится, жизнеспособность уже прочно сидела в нем.

Надо жить, а там видно будет, — подумал он, — устраиваясь в маленькой гостинице неподалеку от площади Нации.

У Мальцева оставалось совсем мало денег, когда на улице он увидел двух парней в плащах... они шли к нему. "На морде это у них написано", — подумалось Святославу. Он прожил в этой гостинице неделю, тихо, мирно, как на пустынном пляже. Это не могло долго продолжаться.

— Господин Мальцев?

— Да.

— Простите, мы из министерства внутренних дел. Мы вас ищем вот уже несколько недель... Вы же недавно прибыли из Советского Союза? С вами бы хотели поговорить, задать несколько вопросов, так, ничего особенного, рутинно.

"Как они вежливы, эти сволочи, как вежливы". Эта мысль бешено приходила, уходила и возвращалась. Он пока боролся с нахлынувшим страхом, но не знал, надолго ли ему хватит сил. Когда в детстве родители разговаривали с ним с вежливой сухостью, он знал, что наказание будет долгим, в школе голос учительницы, становящийся свистяще вежливым, также означал неприятности до морковкина заговенья; в армии хлесткая вежливость офицера толкала неприятный приказ, а затем... затем, он, Мальцев, всегда предпочитал здание милиции зданию КГБ. В милиции орал, угрожали, иногда разбивали губы и нос, но он знал, знал наверняка, что выйдет, и скоро, из этого шумного и грязного дома. Сама повестка из КГБ была чище милицейской, здание было холодным, спокойным, и какой-то неведомый запах был сильнее запаха канцелярии. Мальцев по пьянке как-то сказал, что такое опасное для души зловоние может быть порождено только встречей всесильной власти с беспомощным отчаянием. Он никогда не знал, выйдет ли из этого помещения, а если и выйдет, то когда. Мальцев каждый раз, входя в здание КГБ, смотрел на плющ, обвивающий его стены, старался заставить свое тело не дрожать. Он входил в склеп, нет, в склепе хоть

орать можно. Он входил в ту власть, где нет закона, кроме желания власти.

Его всегда заставляли ждать в коридоре несколько часов. Мальцев знал, что это было обычной тактикой, что нарочито-заумно коридор был пуст, без стульев, скамей. Знание не помогало, да и кому оно могло помочь? Как всегда — ответ ни к чему. Его вызывал человек без улыбки, встречал человек с улыбкой, спрашивал о работе, затем спрашивал, почему хочет Мальцев уехать во Францию, иногда даже жалел, что товарищ Мальцев не еврей (было бы проще), затем, покурив, вновь спрашивал, почему товарищ Мальцев хочет уехать во Францию. Иногда он говорил не "почему", а "для чего". В воздухе кабинета тогда повисала тонкая колючая угроза. Иногда улыбающийся человек смотрел на Святослава с презрительной жалостью, как на труп. Каждый раз Мальцев, выходя из здания КГБ, смотрел в ближайшей витрине на свое позеленевшее лицо...

Те двое в плащах ждали ответа. Вежливо. Опять вежливо. Мелькнула мысль: "Не позеленел ли я? Не видят ли они, эти французские гэбисты?"

— Да, конечно, я к вашим услугам. Когда?

Двое в плащах улыбнулись:

— Можно теперь, сейчас. У нас машина тут, и если вас это не побеспокоит, то...

Мальцев захотел увидеть в глубине улыбок грязную усмешку. Он знал, что к удаче нельзя привыкать, что свобода окружающих его людей не для него. На этот раз посадят! Он, уже сидя в машине, спросил себя: "А за что?"

Короткие спазмы рвали в Мальцеве место, в котором сосредоточено отчаяние и в котором отчаяние на этот раз захихикало, принося дополнительную боль. Лицо скривилось, как от кислоты: "Если было бы за что, давно бы посадили". Всю дорогу его тихонько знобило от беззвучного уродливого смеха.

Коридоры министерства были живыми, их строгость не шептала угроз. Люди приятно хлопали дверьми, громко пе-

реговаривались... у некоторых падали едва ли не на плечи завитушки.

Парни в плащах сдали Мальцева двум коллегам, вежливо простились и ушли, по-детски оглядываясь. Святославу начало казаться, что, кто его знает этих французов, он выйдет из этого здания через парадный подъезд... если, если, конечно, они уже выполнили, к примеру, план по сдаче государству советских шпионов. Должны же они доказывать тут вышестоящим необходимость существования своего учреждения, это как пить дать. Строй строим, режим режимом, а если платят за то, что арестовываешь людей, то стало быть надо арестовывать. Демократия демократией, а логика логикой.

Надежда на скорое освобождение стала в Мальцеве тухнуть. Когда человека задерживают прямо на улице и среди бела дня, это не для того, чтобы погладить его по головке, дать водки и девок. Даже в Париже.

Те двое, остановившие Мальцева, были в одинаковых плащах, эти двое в кабинете — в темных костюмах. Некая постоянность, свойственная всем репрессивным органам... она дала Мальцеву ощущение привычной опасности. Нужно было взять себя в руки и постараться понять игру этих господ-товарищей.

Кабинет был уютен, разбросанные там и сям бумажки, небрежно брошенный на спинку кресла плащ, на окнах светлые занавески. Оба следователя держали себя просто, без всякого напряжения и разглядывали Святослава с обыкновеннейшим любопытством.

"То, что здесь не бьют, ясно — подумалось Мальцеву. — Плохо это или хорошо — черт его знает. Ничего не понятно. Методы допросов у французов совсем другие, чем у нас, во всяком случае первый психологический удар: серая обстановка — взгляд не зацепится. Морда следователя — кирпич мягче, занавески на окнах — через пять минут забываешь, ночь или день на дворе — они не подготовили. Посмотрим. Так, сейчас один будет задавать вопросы, глядя в глаза, а другой, мучая своим присутствием спину допрашиваемого, повторит вопрос, видоизменив его. Давайте, черти, все одно..."

Тот, что выглядел постарше, заговорил первым:

— Вы уже давно, месье Мальцев, пересекли, так сказать, советскую границу. Мы бы хотели узнать, каким образом?

Святослав готов был поклясться, что француз был несколько смущен. Для Мальцева подобная непрофессиональность могла быть только очередной уловкой. Отвечая, он подумал, что французские гэбисты будут долго бродить вокруг да около, иначе они вообще тютю и гроша ломаного не стоят.

Выслушав рассказ Мальцева, вопрос задал француз помоложе:

— Значит у вас остался советский паспорт для внутреннего потребления? Где же он?

— Я его сжег в Швеции. На всякий случай.

Следователи искренне удивились:

— На всякий случай? Что это значит?

— Маменькины сынки, — подумалось Мальцеву.

— Это значит, господа, что я опасался, не отправят ли меня, найдя советский паспорт, назад.

Следователь помоложе продолжал удивляться:

— Но почему же? Швеция никогда не выдает. Вот если бы вы попали в Финляндию... Вы разве не знали?

Проснувшееся в Святославе раздражение стало вытеснять осторожность:

— Что я должен был знать? Не впервые самые либеральные и демократические страны Запада выдают беглецов. Бережного — бог бережет.

Следователь не переставал изумляться:

— Это клевета. Франция никогда никого не выдавала, и если Вы будете продолжать в таком тоне, то...

Коллега постарше мягко остановил его:

— Ты забываешь, что месье Мальцев — француз, а не иностранец. Печальные ошибки всегда случаются, они неизбежны. Нужно стараться, чтобы их было как можно меньше, не правда ли, месье Мальцев?

Невысказанная угроза и чеканная вежливость отрезвили Святослава, напомнили, что нужно держать ухо востро.

"Черт, в Союзе быть иностранцем — спасение. А здесь? Почему он подчеркнул, что я француз?"

— Да, да, непременно, а как же...

Следователь продолжал с видимым благодушием:

— Вы устроились в гостинице сравнительно недавно. Скажите, пожалуйста, где вы жили раньше? Где?

Установившаяся в кабинете тишина хлестнула Святослава по нервам. Он в глубине души не верил, несмотря на светлый кабинет, добродушие следователей и знания о французской демократии, что его остановили на улице только для беседы. Он не мог себе представить, что его, сбежавшего из Советского Союза — из страны потенциально враждебной государству, которому служили эти люди, — не подозревают, не считают возможным агентом. Мальцев приготовился к политическому обвинению... он боялся его, но заранее гордился им. Погибать, так с музыкой, сидеть, так уж по политической. В Союзе он бы сидел как антикоммунист, здесь — как коммунистический шпион или что-нибудь такое, все равно, — но в любом случае по политической... в любом случае совесть была бы без пятна.

В повторенном вопросе "где?" горячая фантазия прочла то, что до Мальцева в течение долгих десятилетий читали вереницы допрашиваемых соотечественников: "Говори, мы все знаем".

Власть всегда все знает, и она любит слушать то, что она знает... и по привычке, особенно не задумываясь, он понял, что стоявшим перед ним следователям известно, при каких обстоятельствах он познакомился с французом болгарского происхождения, что из себя представляет Синева, его деятельность, что для них не тайна предложение Синева поехать в Турцию... наркотики. Мысль, что его посадят как уголовника, потрясла Мальцева. Медленно поднялась волна отвращения к нелепости существования. Рискнуть жизнью, бежать для того, чтобы сидеть во французской тюрьме или лагере — может у них лагеря есть? Нет, к черту Синева, к дьяволу благодарность... своя рубашка ближе к телу...

— Я жил у одного... его фамилия Синева. Случайно познакомился с ним. Он болгарского происхождения. Вскоре я стал

подозревать, что он занимается контрабандой наркотиков... Когда Синева предложил мне поехать в Турцию, что-то кому-то передать и что-то от кого-то получить, — я ушел... терпеть не могу уголовников, тем более людей, связанных с наркотиками... вот и все. Если хотите — дам адрес. Но это — мои предположения. Доказательств у меня нет.

Следователи переглянулись, вероятно, не понимая, для чего этот человек все это рассказывает, и почему он боится. И чего? Но в любом случае, решили они, надо воспользоваться создавшейся ситуацией. Если парень так быстро раскалывается и так боится, — надо продолжать.

— Это очень хорошо, что вы, месье Мальцев, так откровенны с нами, мы это ценим. Дело нас не касается, но мы передадим эти ценные сведения компетентным органам. Скажите, судя по вашему возрасту, можно заключить, что вы только недавно отслужили в советской армии?

Мальцев ответил рассеянно:

— Да. Три с половиной года отслужил. А что?

— Да так. И где?

— На Дальнем Востоке.

— Какой номер части?

Святослав сказал, не задумываясь:

— Этого я вам сказать не могу.

Французы остолбенели:

—Что?

Мальцев повторил:

— Этого я вам сказать не могу.

— Но... но почему?

— Я давал присягу.

Тишина длилась несколько секунд, но она звенела. Затем следователь помоложе буквально взорвался:

— Какая присяга! Вы нелегально перешли железный занавес! Для советских властей вы — преступник! и вы — антикоммунист! и вы — француз! Вы не имеете права не отвечать на вопросы! Где была расположена ваша часть!?

Все в Мальцеве, от пальцев до сердца, стало медленно двигаться. Он услышал свой спокойный голос:

— Ничем не могу вам помочь. Присяга есть присяга. Это все, что могу сказать.

Оравший следователь обескураженно рухнул в кресло. Его коллега, неказистый человек с расплывчатыми чертами лица — смотри хоть час, все равно не запомнишь — начал успокаивающе танцевать руками по воздуху:

— Спокойно, спокойно. Давайте разберемся. Вы чего-нибудь боитесь? Мести со стороны КГБ? Во-первых, ничего из этой комнаты не просочится, во-вторых, КГБ давно перестал применять за границей насильственные меры воздействия, а, в-третьих, то, что вы нам скажете, не представляет же собой государственную тайну, не правда ли? Или у вас остались в СССР родственники, то есть заложники?

Мальцев устало посмотрел на лоб говорящего:

— Дело не в этом. Дело в принципе. Тут ничего не поделаешь. Присяга есть присяга — и все тут!

Следователи бились со Святославом еще часа два. Тщетно. В конце концов, утомившись, французы сдались. Они были раздражены, но одновременно было у них ощущение, что день этот был иным, чем другие, — приятное ощущение борьбы веселило аппетит и красило в яркие тона будущий вечер. Прощаясь, следователи дали Мальцеву адрес Толстовского фонда. И, улыбаясь, говорили:

— Мы вас еще пригласим, непременно позовем.

Проводили до ворот и отпустили на волю мальцовой судьбы.

Святослав мысленно сплюнул — тьфу, козлы! Он толкнул плечом прохожего... тот извинился. "Эх, не так бы я вас допрашивал, — злорадно пробормотал Мальцев, — вы бы у меня поплясали. Сожрала их свобода, ничего не осталось, одна оболочка".

Он видел, как обрадовались глаза следователей, когда он стал торопливо рассказывать о Синеве... мол, тот, кто предал, — предаст еще. Европейцы! В это слово Мальцев вложил все живущее в нем пренебрежение. Что они знают о предательстве?!

Париж вокруг министерства внутренних дел был чертовски красив, этакое изысканное спокойствие, а Мальцев все

не мог умиротворить мышцы шеи, спины, да и страх был готов сейчас, сегодня, завтра вцепиться в глаза, расширить их.

Он шел, шаркал подошвами, думал о бессмысленной жуте, живущей порой в человеке, о предательстве. Он не страшился искать свободу, но теперь боится ее потерять, а насчет предательства... Иуда так и остался непонятым. Правда, измену Ивана Коробкова Мальцев как будто понял. Сколько бы ни копошилась по уже ушедшей жизни Святославова память, только в раннем детстве она не находила Коробкова. Его сутулая фигура всегда маячила... Сидели вместе за одной партой, вместе получали выговоры, вместе падали с заборов, дрались, рубили головы пойманным крысам, вешали кошек, грабили подвалы, увлекались поэзией, раскуривали первую сигарету и становились серьезными, — всё вместе, и никто не мог сообразить, кто же из них двоих держит в руках вожжи этой дружбы.

Когда Мальцев демобилизовался, Коробков заканчивал третий курс мединститута. Все стало как раньше, только уступали друг другу уже не лучшее удилище на рыбалке, не большой стакан во время попойки, а девушек и женщин: "Слушай, вижу, что Таня тебе ширинку бесит... давай!" И злоба от того, что дружба оказывалась сильнее тяги к понравившейся женщине, уходила быстро и незаметно... от нее не оставалось следов. Через полтора года Мальцеву позвонил лейтенант милиции Бойчук. Мать, готовясь к отъезду во Францию, сочла нужным подкупить Бойчука, а, отбывая, потребовала, чтобы лейтенант следил за сыном, помогал ему. Мальцев и Бойчук встретились у заколоченной церкви. Лейтенант усмехнулся:

— Деревенский я. До сих пор тянет — даже в форме — креститься, как прохожу тут. Моя мать здорово верующей была. Отец нет, он только в зеленого змия верил, через это и очоурился. Да... Так вот, старик, дела твои становятся никудышными. Сам знаешь, у нас в Ярославле не так уж много людей неевреев, которые желают уехать туда, к капиталистам. Естественно, значит, что мы за тобой присматриваем, так, на всякий случай. Нашему полковничку всегда приятнее сажать, чем отпускать. Тем более, что ты стал по пьянке все чаще бол-

тать это самое антисоветское, а это, ох, как действует на нервы начальству. Пока приказа взять тебя за ушко да выставить на солнышко, где будешь загорать в полосочку, — нет, но ты все равно остерегайся провокаций: дома, на улице, на работе, везде. Кстате, есть у тебя приятель Коробков. Поменьше болтай перед ним, он на тебя ксивы регулярно пописывает, уже год этим полезным делом занимается... что мы бы без таких людей делали?! А? Не веришь, на, почитай.

Мальцев был уверен, что его глаза вылезут из орбит, что голова разорвется, что... Страницы были наполнены ученическим слогом Ивана — предложения были короткими, ни запятых, ни точек с запятыми, ни восклицательных, ни вопросительных знаков. Сплошные точки. Видно было, что человек старался работать добросовестно. Как говорил Иван: "Лако-низм является отцом честной продуктивности".

Он удивился, так как почти ничего не произошло, только что-то быстро сгорело в нем, не оставив ни злобы, ни горечи. Сгорело чувство, а так как свято место пусто не бывает, — пришло и удобно разместилось знание.

В общем, то, что произошло с Коробковым, может случиться с каждым. Вечером в Ярославле людям храбрым или просто привыкшим отвечать на простое насилие простым же насилием глупо выходить из дому с пустыми руками. Кто заливает свинцом спичечный коробок, кто заворачивает в газету напильник... кто поглупее, добывает себе кастет или нож. Иван достал кастет. На него при выходе из Дома культуры напало четверо. Парнями владела скорее всего скука, они не просили крови и не сразу потребовали крови. Злобное опьянение пришло позже, во время драки, когда противник стал врагом. Подоспевшая милиция нашла Коробкова с порезанной спиной... из тех двое убежали, двоих отправили в больницу с полломанными костями. Кастет Иван успел швырнуть в черноту сквера, плохо защитившего спину во время драки. Все прошло бы гладко — многие в милиции помнили, что мать Ивана была когда-то любовницей товарища Бремова из вышестоящих органов,— если бы один дотошный капитан не ляпнул, что Коробков является лучшим другом того самого Мальцева, который собирается за кордон. Майору

пришла в голову забавная мысль: он позвонил своему другу по рыбалке и охоте, кажется, именно товарищу Бремову из КГБ. Тот выслушал, засмеялся и сказал:

— Почему бы и нет. Валяй. А там поглядим.

Так и пошла жизнь Ивана, как дурной патрон, наперекос. Его вызвали в майорский кабинет. Пока майор обедал, пока курил, пока в уборную ходил, Иван стоял, и боль в ногах все сильнее кричала о его собственном ничтожестве. Наконец сержант — его майор любил за красивый голос — заглянув в кабинет, доложил:

— Тов-майор, по-моему, клиент в нужной кондиции.

Суровое лицо майора Коробков встретил как освобождение. Стал жадно вслушиваться.

— Я знаю, ты мне скажешь, что голыми руками покалечил тех двоих. У одного три ребра, у другого скула вдребезги. Где кастет? Молчи! Знаю, что выкинул. Ты знаешь, что тебя ждет? Молчать! Знаю, что знаешь. Мы все знаем. Тебя сначала исключат из комсомола, затем из института и наконец влепят три годика как минимум. Ты же знаешь, что мы это можем сделать.

Коробков честно и грустно ответил:

— Да.

— Но ты также знаешь, что если я с тобой разговариваю, то значит дан тебе шанс спасти твое будущее, что будешь, быть может, лечить людей. Я ведь знаю, что ты знаешь. Не правда ли?

— Да.

Все это было действительно правдой.

— Друг у тебя есть. Мальцев. То, что он хочет уехать за границу, мы знаем, но мы еще не решили, — враг он или нет, сажать или не стоит. Молчи! Ты уже знаешь, что будешь нам помогать. Кто знает, может ты этим не только себя, но и своего сволочного дружка спасешь. Закрой пасть! Перед тем, как ответить, подумай, хорошенько подумай и ответь себе на один вопрос: если мы бы захотели, действительно бы захотели — посадили бы этого Мальцева без твоей помощи? Да или нет? Отвечай!

И Коробков ответил честно:

— Да.

Ивану оставалось еще раз произнести эти две буквы, дру-гого не было ему дано. Губить себя ради Святослава он бы еще мог, но погибать вместе — было бессмысленно. Если КГБ захочет — Мальцева все равно посадят. Все, что мог сделать Иван, — это писать смягченную правду. Он так и делал. Добросовестно. В сущности — и Святослав это понял — предательство Ивана вытекало из аксиомы: власть все может.

Власть была для него судьбой, и Коробков не захотел стать очередным Эдипом... Никому не нужно, разве что со-вести, но ей можно приказать заткнуться. Дело привычки. Не дохнуть с добром под мышкой, а продолжать искать луч-шее существование с наименьшим злом. Как положено.

Со странным ему самому спокойствием смотрел Мальцев при встречах в глаза Коробкову. Они не избегали друг друга и продолжали быть друзьями. Предательство было наимень-шим злом — и только.

Им, этим следователям, им, рожденным свободными, не-возможно было это понять. Так думал, возвращаясь к своей гостинице, Мальцев. Был ли он доволен своим поведением во французском КГБ? Да. Пожалуй, да. Возможно, нужно было поступить иначе в этом опасном своей непонятностью мире. Но поднялся в нем солдат: присяга есть присяга. Ничего не поделаешь. Мальцев вздохнул — в конце концов то, что он давно не верит в пятичленную схему Маркса, — уже хорошо.

В номере гостиницы все было перевернуто вверх дном. Кто-то что-то искал.

Мальцев тяжело сел, повинувшись задрожавшим ногам. Хуже всего было то, что он никак не мог решить, — понимает ли он или не понимает происходящего с ним и вокруг него... все время кому-то что-то было нужно, кем-то и отчего-то было нечто сделано. Теперь кто-то что-то искал.

Нервы продолжали тихонько дергать ноги, как будто про-бирались к шее. Мальцев долго смотрел на следы обыска. Произвести обыск. Арестовать. Допросить. Посадить, Эти понятия вызывали в Мальцеве старый привычный страх. Он сам вызывал его в себе весь день, всю последнюю неделю. Он хотел его. Старый страх защищал его от сумасшествия, давал отдых раскалившемуся до предела хаосу в мыслях. Мальцев

глядел на вещи, выброшенные из чемоданчика, и ему все сильнее хотелось никогда не выходить из комнаты, в которой он теперь сидел.

ВЫШЕЛ В СВЕТ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

ВЕСТНИК РХД №122(111-1977)

В номере, в частности, опубликованы следующие материалы:

Н. СТРУВЕ - К 60-летию русской революции.

Письмо читателя - А. Солженицын.

О книге А. Краснова-Левитина "Лихие годы".

ЗИНАИДА ГИППИУС - Два завета

А. МЕНЬ - По поводу отклика на интервью (ответ И. Шафаревичу)

МОРИС КЛАВЕЛЬ - Величие Маркса

ИОСИФ БРОДСКИЙ - Новый Жюль Верн (поэма)

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ - Из записок Зыбина

ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ - Памяти В. Набокова

В. НАБОКОВ - Истребление тиранов

Д. ДАРСКИЙ - Розанов человек

В. РОЗАНОВ - Незданные страницы

Интервью с художником В.Д. Линицким

Е. ВАГИН - Интервью "Вестнику РХД"

В измене не повинен (Слово в защиту Игоря Огурцова)

ЮРИЙ ФЕДОРОВ - Письмо из концлагеря

А. СОЛЖЕНИЦЫН - Всероссийская мемуарная библиотека

С заказами обращаться в бюро Р.С.Х.Д. по адресу:

LE MESSENGER, A.C.E.R.

91, rue Olivier de Serres, 75015 Paris, France.

Представитель в Израиле М. Агурский,

POB 7433 Иерусалим

Вадим НЕЧАЕВ

ОДИНОКИМ СДАЕТСЯ УГОЛ



Прислушиваясь к слабым отголоскам сна, я подумал, что, наверно, уже девять часов и пора вставать. В квартире было тихо, сквозь занавеску проникало солнце, — уже наступила осень, сухая и с морозцем, но хозяйка еще не спешила топить печь, а поэтому я накрывался одеялом до самой макушки. Оно мне служило защитой от тревог последних дней. И у меня вошло в привычку лежать после пробуждения в темноте минут двадцать, а то и тридцать, чтобы набраться решимости до следующей ночи. Нельзя сказать, чтобы я дурно спал или меня мучили кошмары — не в этом дело, просто каждый раз я поднимался с неясным ощущением: а зачем? То, что раньше было понятным и само собой разумеющимся, вдруг в какой-то невидимый момент потеряло очевидный смысл, словно я оказался в мире теней, но этого-то никто не знал, и все требовали моей прежней линии поведения.

— С добрым утром, дядя Кирилл.

Я с опаской высунул голову наружу и увидел хозяйкиного сына Петю, который стоял на полу босиком. Он пересек комнату, залез ко мне под одеяло, поерзал и затих.

За эти десять месяцев я прижился и стал почти своим человеком в семье. Мне осточертело искать углы, переезжать из гостиницы в гостиницу, таскать за собой чемодан и рюкзак с бумагами; спать рядом с людьми, которые храпят, стонут во сне, чмокают губами, зовут своих жен, просыпаются, курят папиросы, топоча ногами ходят в уборную, зажигают свет, играют в карты, в шесть утра включают радио и слушают последние известия — я ничего дурного не хочу сказать про этих людей, но командировочные есть командировочные, и ничего тут не попишешь.

И, по правде говоря, я невероятно обрадовался, когда нашел постоянное "местожительства". Хозяйкин сын во сне не ворочается и не бредит. Его мать тоже спит неслышно. Иногда все же по ночам она встает, подходит к окну и долго стоит так. Я вижу из своей комнаты ее белую сорочку, голову и желтые волосы на фоне серого стекла. За окном рассеянный свет и ночь, и Валентина ничего не может разглядеть, кроме своего мужа на траулере, и, вероятно, она вспоминает его в дни трезвости и любви, потом она черпает из ведра колодезную воду, и пьет ее, и разливает, и успокоенная ложится в постель.

— Дядя Кирилл, что такое мир?

— Что это тебя заинтересовало?

— На нашем углу написано: "миру-мир!"...

Бритва жужжала, и я машинально водил ее по голой щеке. И в зеркальце с трещиной посередине отражалось мое искаженное лицо: один глаз был чуть выше, пустой и мертвый, а второй, пониже, блистал влагой жизни, как у ребенка, подбородок ушел вниз, мой бедный нос скрючился в сторону.

То же самое, по-видимому, было в моих мыслях, которые я не мог никак собрать и сосредоточить вокруг какого-либо стержня. Наверно, как говорили писатели наивного прошлого, я потерял себя, как верующие теряют своего Бога. Я пытался воскреснуть, вспоминая свой прежний дом, в котором я провел двадцать лет и на лестнице которого мне была знакома любая щербинка или надпись, пожилой неказистый дом, просыпающийся в шесть утра, когда вставал кочегар Захар Пустовойтов этажом выше нас, алкаш и бывший цир-

кач, мой лучший друг детства, и грузно шагал по шатким половицам, когда две старых девы — Катерина и Мария Соловьевы — обе в белых передниках, похожие на официанток, принимались стряпать на кухне, а их сосед, пенсионер Подольский, правил вслух свою летопись о гражданах, населяющих данный дом по Б. Посадской с 1812 года; я вспоминаю мать, ее лицо с впалыми щеками, наставнический голос, ее далекий взгляд из писем, которые она отправляла раз в неделю на Главпочтамт до востребования, во все те города, где я находился. Я рос и менялся, однако ни содержание писем, ни их тон не стали другими — словно мы оба застыли в том возрасте, когда ей было тридцать, а мне десять.

Я очнулся, ощутив ожог на лице. Выключил бритву и побрызгал на себя одеколоном. Надел белую сорочку и аккуратно затянул галстук, находя в этом какое-то удовольствие. Было десять часов, когда я собрался на работу. На улице нет людей. В нашем районе сплошь дряхлые, одноэтажные и двухэтажные дома. Они стоят кучно, как сыроежки, и во время пожара выгорают целыми кварталами. Зато погорельцев переселяют в современные квартиры. Я прошел мимо парикмахерской, пивного ларька, возле которого одинокий пьяный чистил себе платком туфли, мимо мастерской по ремонту зажигалок и начал подниматься на мост. Под ним пролегали черные рельсы, влажные от росы, и вдалеке виднелось стадо вагонов — участок тяги и подвижного состава. Паровозы двигались неспеша, как на прогулке. Я привык к их гудкам — они врвались в мои сны, и я исчезал из города.

* * *

...Довольно часто в своих полуснах я выходил из нашей десятиметровой комнаты на улицу ранним весенним утром и направлялся по солнечной стороне к Кировскому проспекту, вступал на Каменный мост, под которым проплывали льдины с хрупкими желтыми краями, кусты рябиновые, деревяшки, стеклянные поплавки от сетей. Вдоль набережной стояли дома с разноцветными окнами. Вдалеке виднелись баржи, держащие курс к морю.

Нередко возвращаясь за полночь домой, я ждал, когда пройдут озаренные электрическим светом суда. Я ждал, когда сведут мост через Неву, и грелся у огня в соседстве с пожилой сторожихой.

В этом городе масса кривых улиц, переулков, тупиков, скверов, многие дома необозначены, и, чтобы ориентироваться в нем, надо обладать сноровкой и наблюдательностью. За два года я достиг кое-каких успехов в этой науке.

Солнце скрылось, упало несколько дождевых капель, и безлюдный сквер, через который мне предстояло пройти, выглядел уныло с его чахлыми деревьями и пыльными скамейками. Я остановился около огромного каменного памятника, который прежде почему-то не замечал. Лицо его, крупное, властное, с закрытыми глазами, или, лучше сказать, без глаз, с изменчивой улыбкой в краешках губ, с раздвоенным подбородком, в ложбине которого воробей пил накопленную влагу дождя, было наклонено к плечу и взирало на город в некоем косом разрезе.

Горькое воспоминание о прежнем величии пролегло резкими складками от носа к полным щекам. Выпуклая незрячесть глаз была страшна выражением угрозы и ненависти. Зато в линиях его полной и длинной шеи, округлых плечей и мягкой груди под плащом угадывалось нечто другое — может быть, способность к материнству.

Уже давно никто не ухаживал за памятником, и на лице у него выросла седая жесткая щетина, в ушах нахлоплась грязь, плащ кое-где поистерся, сапоги пострадали от крыс, железная ограда была заперта на ржавый замок, но, как это ни странно, возле прутьев лежали букеты цветов и кленовых листьев.

От полуистлевшей плоти шел нечистый, смрадный запах и смешивался с теплым и влажным дыханием осени. Я поднял воротник плаща и поторопился прочь.

Я перебежал струящуюся улицу и нырнул в подъезд архаива, отряхивая капли дождя. Знакомая атмосфера тишины, шелеста страниц, причастности к тайнам города — максимальная безопасность. Я попал сюда десять месяцев назад, можно сказать, случайно. Мой приятель, которого звали Приставкой,

потому что он не выносил одиночества, порекомендовал меня на эту работу. А до этого я служил в газете. Само собой разумеется, при поступлении в архив я прошел строжайшую идеологическую проверку.

Мой начальник, молчаливый, хмурый человек в черных очках, которого все чтили и боялись, встретил меня с дружелюбием:

— Кирилл, могу вас обрадовать, я специально отложил до вашего приезда несколько весьма любопытных дел. Вы можете заняться ими хоть сегодня.

Он придвинул мне стопку папок и тотчас углубился в какие-то пожелтевшие бумаги и счета. Я прошел в свой закуток. Обычно мы редко удостоиваемся чести беседовать с начальником с глазу на глаз: система связи и контроля у нас разработана по последнему слову техники. В нашем учреждении культ шефа.

На одной из папок, относящихся к форме № 16, в уголку крестик, означавший, что разбирательство ведется относительно уже жизни законченной. Я с опаской развязал тесемки и на титульном листе увидел маленькую фотографию юноши — черты лица его были плохо различимы. Мне вспомнились слова поэта: "Под каждым надгробьем похоронен целый мир", и я подивился своей чувствительности. Уж кажется, за эти месяцы в архиве я должен был бы привыкнуть к своеобразию занятий и приобрести так называемую профессиональную выдержку. Подобную выдержке прозектора. Начальник в первые недели наставлял меня:

"Воспринимайте все со стороны как игру, законы которой непонятны. Величия нет ни в жизни, ни в смерти, и, если вы поймете эту истину, работа будет приносить вам сплошное удовольствие.

Мы, архивариусы, и находимся, так сказать, вне стен лабиринта и наш долг — сохранить в документах усилия людей, страждущих найти выход, хотя, как вы сами понимаете, найти его невозможно. Поэтому старайтесь воспитать в себе иронию".

Внутри папки лежала целая серия новогодних открыток с незатейливыми посланиями на обратной стороне. Покойник

посылал их своим друзьям весной, летом, осенью, в общем, когда ему хотелось, тем самым нарушая установленный порядок и как бы подшучивая над судьбой.

На моем пути, по правде говоря, немало встречалось странных людей, которых в обиходе называют чудаками. Бывают чудаки безопасные — они такие же, как и нормальные члены общества, но с некоторыми причудами. Например, любят нюхать табак, искусно передразнивают ангорских кошек, носят в кармане будильник, употребляют в разговоре старинные обороты, как то: "сударь мой", "душенька", "трансцендентальная истина", "положительный образ", и т.д. То есть, наиболее безобидные чудаки и даже пользующиеся благоволением начальства.

Бывают чудаки опасные — внешне это как раз самые незаметные люди, но для окружающего мира они словно красный флаг для быка.

Был у меня приятель Алексей Величкин, жил в сельской местности, и никто в нем ничего особенного не замечал, вот разве что пил, и вдруг однажды — бросил хозяйство, огород, сено для коровы больше не заготавливал, баба, конечно, в крик, слезы и кочергой его по спине, а он, ноль внимания, забирался на чердак, запирался и рассматривал небо в самодельный телескоп. Потом я его из виду потерял и о дальнейшей судьбе узнал уже в архиве: баба от Алексея ушла, участок земли отняли, а самого отправили в лагерь.

Случается, чудаки меняются местами, перекрашиваются: опасные становятся лояльными и даже по службе с успехом продвигаются, а те, кто нюхал табак, передразнивая ангорских или новосибирских кошек, излечивались от своих причуд, но в силу какой-то природной дисгармонии хватались за чужие дела и, смотришь, оказывались на подозрении.

Такая же история, по-видимому, произошла с тем, чье дело попало мне сегодня в руки. Я прочитал одну из открыток:

"Дорогая, в последние дни я нахожусь в какой-то навязчивой меланхолии, связанности. Словно кто-то за мной непрерывно следит. Никаких особых прегрешений за собой я не знаю, но оттого что следят, невольно рождается чувство вины. И в самом деле, может быть, она есть, а я ее пропустил в суете

занятий. Первая мысль по утрам: в чем же моя вина? Мне дозарезу нужно ее найти, иначе как же я оправдаюсь. Недавно я вот что заметил: куда бы я ни писал, всюду отвечают, адресат выбыл. Написал Ракитину, чтобы он прислал мне давнишний долг, спустя несколько дней получаю конверт нераспечатанным. Как же так, думаю, ведь Ракитин такой домосед, его пряником из дома не выманишь! Иду я как-то вечером по улице и вижу: у газетной витрины стоит Ракитин собственной персоной. — Как же это? — удивляюсь я. — Ведь ты на днях выехал? — Может быть, — отвечает он, — я уже не помню.

Это обстоятельство так заинтересовало меня, что я решил посылать письма своим соседям по этажу и квартире, поздравлял их с хорошей погодой, случайными успехами. И что ты думаешь?.. Тот же результат. И кроме того, соседи вдруг перестали со мной здороваться, проходят мимо, глядя сквозь меня, словно я прозрачный. А я им желал только добра.

Говорят, скоро затмение солнца. Как ты считаешь, каковы будут от этого последствия? Жду письма. Пиши мне до возбуждения. Но в обычном конверте".

Вслед за письмами я наткнулся на заявление в загс. Затем дневниковые записи и любительские снимки, на которых везде: он и она. Он и она у памятника в сквере, он и она на зимних качелях, он и она выбегают из моря, она и он, он и она, вечное сочетание противоположностей и, наконец, она снята в одиночестве, с заплаканным синим лицом.

Совершенно незамысловатая история. Не зря ее отнесли к форме № 16, куда входят происшествия, имеющие только камерное звучание.

Я услышал двойной звонок. Приглашение на обед. У нас целая система звонков и лампочек различного назначения: одни — для празднеств, другие — для похорон. Изюм всех дверей повыскакивали сотрудники, которые показали мне неотличимыми друг от друга — на одно лицо, и, словно крабы, засеменили цепочкой по черной лестнице в столовую. Без суматохи расселись по местам, все, как один, положив руки на стол. Начальник должен был пройти вдоль ряда и отличившихся по службе ударить линейкой по пальцам. Некоторые

после этого целую неделю не мыли рук, чтобы дольше сохранить приятное воспоминание.

— Как съездили в командировку? — спросил меня сосед.

— Спасибо, я удовлетворен командировкой, старший инспектор.

— Расскажите потом о своих приключениях? — подмигнул он мне белым зрачком.

Старшему инспектору осталось служить до пенсии полгода. Он заведовал архивом нашего учреждения и, как говорили сведущие люди, пользовался большим авторитетом в вышестоящих и даже в верховных организациях. Если воспользоваться сравнением из военно-мемуарной литературы, он вел разведку над разведкой, так что, можно сказать, он знал нас лучше, чем мы сами себя. Со стороны виднее. Неудивительно, что у него были особые привилегии. К примеру, он единственный принимался за обед и заканчивал его, не ожидая разрешения начальника. Меня посадили рядом с ним как новичка и даже не предупредили об осторожности. По своей наивности я рассказал ему однажды пару невинных анекдотов и это, как ни странно, старику понравилось.

Вскоре все заметили, что старший инспектор оказывает мне благоволение, и по отношению коллег я понял, что карьера моя скоро подвинется вперед. Он жил холостяком и сегодня пригласил к себе в гости. Я пришел в сумерки. Он церемонно принял меня в передней и, сделав широкий жест рукой, провел затем в комнату. Обстановка его квартиры была выполнена в стиле начала века — я сказал бы, артистически. Если по мебели можно судить о характере человека, то, по видимому, старший инспектор любил в молодости роскошь, искусство и, как говорится, умел пожить. Сейчас это был аскет, к тому же страдающий язвой желудка.

Запахнув на голых коленях полы толстого оранжевого халата с черными полосами вдоль, старший инспектор полулегал на диван и молча уставился на меня круглыми прозрачными глазами.

— Юноша, — сказал старший инспектор, — в вас осталось еще, э-э-э, — он помахал рукой в пространстве, подыскивая

подходящее словцо, — слишком много, слишком много человеческого...

Из-под халата торчали его тонкие ноги, покрытые какими-то желтыми пятнами, словно от сырости, и пальцы в шлепанцах постоянно шевелились.

— Я случайно попал сюда, в архив, — сказал я в ответ, — и вполне вероятно, что еще не обвыкся. Для меня многое внове.

— Вам повезло, юноша, прямо скажем, повезло, — продолжал старик свои сентенции, — архив — это почетное и в то же время наиболее безопасное место из всех возможных. Если вы читали о войне, то знаете, что мирное население пряталось во время обстрела в метро и бомбоубежищах. Так у нас вроде этого. Мы имеем дело с отражениями. Понимаете меня, с отражениями людских волн. Я, знаете ли, люблю метафоры. Не выношу прямых обозначений. Все в жизни так переходит одно в другое, так изменчиво, что прямые слова всегда оборачиваются ложью. Метафора же дает простор для всевозможных толкований.

Старик хихикнул, взял бокал с пивом и отхлебнул глоток.

— Единственный порок, который я разрешаю себе. Берите с меня пример, юный друг. В такое сумбурное время я сумел сохраниться до патриаршего возраста. Это немалое достижение. Скажите мне откровенно, как вы относитесь к идеалам?

— Каким идеалам, старший инспектор?

— Что, вы не слышали такого слова?

— Слышал когда-то в школе.

Старик спрятал усмешку в щеках.

— А я думал, что вы идеалист и хотел вас предостеречь от излишнего увлечения... Молодость такая бескорыстная пора, горение души и тому подобное. Так вот, представим, что жизнь организована согласно самым высоким идеалам — ровное, безмятежное общество... Но это утопия. На практике идеал всегда приводит к противоположности. Примеры вы сами знаете из истории. Архив же — к его достоинству — это взгляд со стороны, это остров. Вы владеете временем как прошлым, так и будущим. Кстати, вы еще не устали слушать меня?

— Нет, нет, что вы, старший инспектор, — сказал я быстро, — как раз мне очень интересно, у меня сейчас такой период...

— Какой период?

— Как вам объяснить, какая-то тоска, рассеянность, смутные воспоминания.

— О, это вы правильно сделали, что сказали мне. У меня самого в юности были такие периоды. Не можете смотреть в глаза приятелям? Чувство вины? Потери прошлого и так далее.

— Да, да, все именно так, как вы описали. Какие-то голоса порой слышу. Иногда просыпаюсь в ужасном страхе и не могу сообразить, где я нахожусь, какой год сейчас, все так смещается в моих глазах: окно, деревья, звезды, — кружится, кружится, кружится.

— Вы, наверно, спите на правом боку?

— Да.

— Советую спать на левом. Тренируйте свое сердце. В медицине есть такой термин: панцирское сердце. Научитесь читать не слева направо и не сверху вниз, а наоборот. Попробуйте жениться. Появятся насущные заботы. И вообще... если рядом хорошая женщина, она как бы защищает от кошмаров. Освободиться всегда можно. Пока возьмите лекарство. Если вы благополучно минуете этот период, то в будущем, я думаю, из вас выйдет крупнейший деятель. Твердость и воля воспитываются через страдания.

— Спасибо вам, старший инспектор, я обязательно воспользуюсь вашими советами.

— Чаще ходите на собрания, не замыкайтесь в себе, бывайте в цирке, на представлениях, футбольных матчах, участвуйте в уличных песнопениях, будьте, как все, — старик рассказывает в халате по своей комнате, выдержанной в коричневых, красных и черных тонах, у окна в клетке прыгали щеглы и ритм их движений совпадал, — займитесь спортом, прыгайте через веревочку, скакалку, летайте на парашюте, катапультируйтесь с самолета, ну, достаточно советов, — старший инспектор, похоже, пришел в себя, — пойдете ужинать, я покажу вам, юный друг, мою коллекцию картин. В столовой.

Я не обратил внимания ни на бутылку шампанского в тарелке со льдом, ни на красную икру — в ослепительном многократном свете люстры, который как бы усиливался от бесчисленных отражений в хрустальных подвесках, сверкала вокруг меня живопись. Соседство безвестных мастеров.

Старший инспектор показал на левую сторону:

— Это картины моего брата. Нравится?! Какая святость в лицах — как у праведников, приговоренных к смерти. Все так гармонично. А сам кончил на Пряжке в психбольнице. Он мог бы сделать карьеру, но...

Старший инспектор всхлипнул, как ребенок.

— И чего его дернуло стать художником. Ведь я говорил ему: сейчас не время для искусства. А он стоял на своем. Жил в нищете, в каком-то сарае, жена изменяла ему налево и направо. А потом сжег свои работы — искусство, мол, сплошной обман. Жизнь — вот цель для художника; так и заявил мне: я иду в жизнь, к людям.

И все. Достаточно попасться на глаза смерти... и все, человек исчезает. Был человек и нет его. Даже я не знаю, какова участь брата. Возможно, его подвергли "дезинфекции", и он служит каким-нибудь сторожем на складе, возможно, он до сих пор на Пряжке и рисует плакаты к праздникам. Возможно, он стал слугой роботов. Ниже этой ступени — только могила, — старший инспектор заметно разволновался, — только, чур, юноша, чтобы никто не знал о моем увлечении. Вы понимаете меня?

— Конечно, старший инспектор.

— В последнее время участились проверки, психоревизии, и это неспроста. Мое поколение слишком много перенесло на своем веку...

В человеке есть несколько сфер, в которые можно пускать посторонних, а в которые и нельзя, — старик еще глубже заполз в свой красно-черный халат, из которого торчала только маленькая голова с прозрачным теменем.

— Выпьем за дружбу, юноша. Если хотите, я буду вашим наставником. У меня нет детей. И кто знает, может, после моей смерти вы получите мое звание. Так сказать, по наследству.

Старший инспектор вздохнул утомленно и прилег на диван. Голова его откинулась на подушку, лицо разгладилось, как у молодого.

— Это хорошо, что я вас встретил, — он улыбнулся мне трогательно и печально, по-родственному. — Тяжело умирать, зная, что после тебя ничего не останется: бумаги и письма заберут в архив, личные вещи сожгут, квартиру займет кто-то другой, ничего — ни декрета, ни формы, ни пуговицы, ни волоса. А так хоть звание я оставляю вам... Выключите верхний свет, слишком светло.

— И нижний, пожалуй, тоже, — попросил капризным тоном старший инспектор. — Достаточно луны. Хе-хе. В молодости люди предпочитают солнце, а в старости луну. Отраженный свет, покой. Как-никак, а старость — убогое зрелище. Вы не согласны со мной? Это в вас говорит воспитанность. Ждать больше нечего. Все, что тебе было дано, ты использовал или не использовал — неважно. Остается самоуважение, почет и страх смерти. Старики себялюбивы ужасно. Задвиньте, пожалуйста, шторы. Я в темноте вижу хорошо.

Когда-то существовал чудный обычай: вместе с покойником закапывали в землю его жену, утварь и коня, чтобы там он не был одиноким. У меня, к сожалению, ничего нет, даже маленькой кошки. И все же я не боюсь, хотя этот свет прямо действует мне на нервы. Вы говорите, что здесь темно? Не может быть. Я вижу все так, словно горят двести свечей. На потолке две третины крест-накрест. На обоях желтые пятна. Паутина свешивается в углу. Стол прогнулся в середине под собственной тяжестью. Даже моль вижу. Вон она летает. И вторая моль. Встретились в углу. Сцепились. Снова две. Все слишком подробно.

Жизнь так коротка. А смерть так ужасна, как и рождение. Я вспоминаю себя и вижу совершенно разных людей. Кто же из них я истинный? Кто я, о, Господи! Как болит моя душа. Юный друг, не забудьте, если что, завещание в шкатулке. Я вижу тень. Не пускайте ее...

Я прижался спиной к обоям. В щелку между гардин врывался узкий луч серебристого света, который перерезал комнату пополам. И действительно, какая-то тень пересекала границу.

— Дружочек, — я услышал хрипы и стон, — наберите три нуля, скажите... Хотя, стоп, не надо, они будут мучать меня, не знаю ли я чего, не скрываю ли, они не дадут мне покоя, нет, уж лучше я сам, сам справлюсь, если бы только не этот черный свет... Это мне за брата. Я узрел... я узрел...

Старик утих, и вначале ничего не было видно и слышно в этом склепе. Я напряженно вглядывался туда, где на диване лежал старший инспектор. В черной пустоте появились два синих мерцающих полукружия. От них распространялась глубокая синева, как бы изнутри. Засветился нос, длинные изогнутые губы, острый подбородок, шея, плечи, тонкие руки, согнутые в локтях, дряблый живот и бедра, и какая-то точка меж. Я включил люстру — на диване по-прежнему валялся халат, принявший формы человека, но старшего инспектора нигде не было.

Халат раскинул рукава, поднял воротник, чуть сжался в коленях, и по его красным и черным полосам пробегала дрожь. Я окинул взглядом комнату и увидел на подоконнике шкатулку. С вороватым чувством я вытащил бесценный документ. Сверху было отпечатано: "сие лицо неприкосновенно". Захлопнув за собой дверь, я стремглав спустился по лестнице. Внизу меня остановил учтивый привратник. Я показал ему охранную грамоту и выскочил на улицу.

Она была, как длинный пустой коридор — мертвенно светили фонари на изогнутых железных стеблях. Вечер сливался с тревогой и одиночеством. Я шел по правой стороне, держась поближе к теплым стенам дома. В первом попавшемся дворе я спрятался за сарай и, наклонившись, вставил два пальца в горло.

Рядом со мной топтался какой-то облезлый грустный пес — неизвестно, откуда он взялся. Он бежал возле. То перебегал мне дорогу, то отставал в поисках пищи.

Так мы дошли до сквера, и я решил немного отдохнуть на скамейке. Тепло было и душно. В воздухе кружилась мошкара. Я прилег, положив под голову ладонь с тайной надеждой, что во сне я забуду прежнюю жизнь, освобожусь от воспоминаний, стану твердым, как памятник.

Я стряхнул с себя оцепенение и приподнял голову. Пруд и солнце исчезли. Какие-то тени шарахнулись от меня в вечернем сумраке. Невдалеке стоял незрячий памятник на каменном постаменте, откинув назад голову и сложив руки на выпуклом животе.

Его тело изогнулось и напряглось в предродовом усилии. Я вообразил каменного уродливого последыша, который вот-вот появится на свет с радостным визгом, зачатый семенами ненависти и мести, и примет облик человека. Полы плаща шевелились и скрипели, памятник тужился и сотрясал воздух своими тяжкими вздохами, преодолевая мужскую негибкость членов и женскую боль, творя в тишине уголовный подвиг.

Я схватился в смятении за карман, где лежало завещание. Там было пусто. Воры. Это они обыскивали меня, спящего на скамейке. Теперь я беззащитен.

Опять я просто человек. С обычной человеческой анкетой. Памятник стоял прямо и спокойно, притворяясь мертвым. Как видно, он остерегался свидетелей. Я бросил камень ему в живот и побрел прочь из сквера.

Отчего такая напасть, думал я, пересекая кривую улочку, в чем я провинился, жил, как все, никому не делал худого, в детстве слушался родителей, потом слушался законов, успешно закончил университет, мог бы остаться в большом городе и все же не остался, уехал на периферию. По натуре я, кажется, добрый: если давал в долг, потом не требовал отдачи, не люблю я ссор и драк. Родители были мной довольны. Сколько вокруг всяких соблазнов, подумать страшно, и как-никак, я их миновал, я не картежник, не алкоголик. Почему же такая усталость?

Чужие лица вокруг, не лица, а личины, ненужные отношения, случайные ласки, а я считал, что это в порядке вещей. Все равно человек одинок от рождения до смерти, и все попытки прорваться сквозь одиночество к другим бесполезны. Как говорит мой начальник, из лабиринта нет выхода.

С каждым годом во мне что-то отмирало, а сейчас эта труха, которую называют душой, проснулась и болит мучительно, так же, как и в прошлый отпуск, когда я прилетел в огром-

ный город, чтобы развеяться, попал на вокзал, где валялись вповалку.

В этом каменном городе мне все было чуждо, как человеку, который просидел бы сорок лет в лагере и вернулся назад боязливой тенью. Однажды я зашел в кафе — с потолка свисали лампочки в длинных футлярах, наподобие снарядных гильз. Девушка за моим столиком читала журнал. Мы познакомились, и она спросила, издали ли я. Она удивилась и стала рассказывать о себе. Я ничего не мог понять и чувствовал, что все это ложь без нужды. В конце концов она сказала, что согласна развлечься со мной.

Я вернулся на вокзал, переспал на скамейке ночь в соседстве с каким-то безногим стариком, с которым мы под утро распили "маленькую", и на следующий день, купив новые ботинки, уехал на север. Тогда я не способен был догадаться... Как хорошо, что у меня украли завещание. Я снова человек с анкетой, человек с прошлым, которое чуть было не потерял.

* * *

Не заметив, я прошел улицу, из раскрытых окон которой слышались голоса, обрывающие друг друга:

— Кто любит — тот все простит.

— Счастья на свете нет. Пустая выдумка.

— Бабка моя вчера, слава богу, скапустилась. В наследство оставила швейную машинку и крестик с золотой цепочкой. Уж так и быть, за пол-литра крестик уступлю.

— Нет, Ваня, я на это не согласна. Как же можно, ведь ребенку уже три месяца. Он что-то понимает. И слышать не хочу.

— ...Господи, один ты свет.

— Согласие с миром и доверие к самому себе...

* * *

Я спустился по круглому склону к реке. От нее пахло мазутом, рыбьей чешуей и тиной. Город остался позади. Смол-

кли шумы и звуки. Только вдали взвизгивала электропила. Через разные промежутки времени. Жж... жж... И снова тихо. Жж... жж... — с такой резкой болью. И вдруг я вспомнил: "Согласие с миром и доверие к самому себе". Не было во мне ни того, ни другого. Вместо согласия — вражда, вместо доверия — подозрение.

Не лучше ли поставить точку. Такая благословенная точка — как огромная клякса — уют и тишина. И не будет ни электропилы, ни архива, ни памятника. Точка возникла в воздухе, стала расти и кружиться — спиралью, все шире и шире, захватывая в свою орбиту кусты, скамейки, балки, деревья, мосты, дома, набережные и их решетки, газоны, трамвайные пути и провода, афиши (выступление иллюзиониста Кио), рекламы, телевизионные антенны, чердаки, голубятни и сирых голубей, пивные и трех последних алкашей, пригороды и облака, и луну, и редкие звезды, и еще одну луну, и все сместилось и неслось, река надо мной, луна под ногами и в центре этого круговращения сияла желтая капля, и она манила меня к себе, и я, бессильный, сделал шаг, еще, вступил в холодное течение, и вода мне доходит до колен, и слабость такая, и вечерняя пустота. И вдруг все пропало, и я услышал:

— Ты куда, мальчик-с-пальчик?

Я стоял, озираясь, по колено в реке, которая медленно несла свои волны под деревянный мост, несла какие-то щепки, пятна мазута, обертки, пустые бутылки, желто-красные листья, дохлых рыб вверх брюхом, стоял не в силах пошевелиться. Позади меня отлого поднимался берег, поросший редким кустарником, и там на бревне сидело какое-то заросшее существо в лохмотьях. Я вышел из реки, чуть пошатываясь от головокружения.

— Иди сюда, мальчик-с-пальчик.

Я взгляделся в его лицо и узнал в нем своего прежнего сослуживца, которого уволили в прошлом году, потому что он не выдержал испытательного срока. Попадает такая порода людей, называют их "летуны", "перекати-поле", "шабашники" и в том же роде. Не привыкшие к оседлой жизни, порядку и службе, они с трудом переносят свою зависимость от

того, кто выше их по рангу, не умеют хитрить и ладить с начальством.

Его звали Суфле, а по-настоящему он был Сидор Машкин, и его трудовая книжка была проштампована от корки до корки: разносчик фруктов, лесничий, шофер в экспедиции, почтальон, учитель чистописания и проводник в горах — кем он только не работал!

— Согреться хочешь? — сказал Машкин и, вытащив из кармана фляжку, отвинтил колпачок, налил в него водки. Я был благодарен Суфле, что он ни о чем меня не спрашивает, не лезет в душу.

— Почему ты никуда не уехал? — спросил я тихо.

— Ты ужасно наивен мальчик-с-пальчик (он прозвал меня так еще год назад). Кто меня отсюда выпустит. Из нашего архива путь один — туда! (он показал пальцем в землю). Я предпочел жить вольной птицей.

— На что ты живешь? — Я всегда нормально разговариваю с теми, у кого в голове не все в порядке.

— Хе, на что живет птица. Приходят разные экскурсии на кладбище, я тут как тут. Будто экскурсовод. Показываю могилы. Рассказываю про наших замечательных граждан. Между прочим, есть вакантное место.

— На кладбище?

— Экскурсовода.

— Благодарю.

— Ну ладно. Пока.

И он исчез. Я направился по ночному городу домой. Вышел к вокзалу, поднялся на горбатый мост. Внизу, светя желтыми фонарями, двигались паровозы. Они пересекали массивное пространство ночи без страха. Я почувствовал, что соскучился по своему уюту. Хозяин сын Петя снова будет дуться.

Наверное, беспокоятся, почему квартиранта так долго нет. — Загулял где-то, — говорит Валентина. — Опять наследит нам.

Я тихонько открыл дверь, которая все же скрипнула, и вошел в комнату. — Где бродил? — шепотом спросила Валентина. — Был в гостях. — Ты знаешь, мой муж-то помер, еще месяц назад, да я тебе не говорила. Так что ты не покидай уж нас. А теперь иди спать, поговорим завтра.

Я прошел в свой закуток и лег. Мне видно было плечо Валентины и голова ее сына, который причмокивал губами во сне.

Утром я послал открытку своему начальнику, в которой процитировал его слова. Я написал, что остаюсь в "лабиринте". А спустя несколько дней в качестве ответа я получил посылку. Валя увидела ее и заплакала.

Когда я отправился по указанному в повестке адресу, то, проходя мимо базара, увидел на столбе объявление: "Одиноким сдается угол". Я вздрогнул. Неужели это она поспешила прикрепить объявление, не дождавшись, пока я навсегда исчезну.

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО
"МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ"
ИЛЬЯ РУБИН
"ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ"
ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ**

Книга стихов, эссе и прозы безвременно скончавшегося поэта, прозаика, критика Ильи Рубина, остро чувствующего свою принадлежность двум культурам — русской и еврейской — и драматически выразившего это свое двойное культурное подданство в своем творчестве.

Цена книги — 6 долларов (с пересылкой).

Заказы и чеки направлять по адресу:

P.O. Box 23121. Tel-Aviv, Israel.

Е. ШИФФЕРС

ДАВАЙ, АКИМУШКИН, ДАВАЙ!

Акимушкин едет домой в троллейбусе, он легко пьян и сосредоточен, чтобы не развезло в толчее и не испортило синюю благодать субботы и полочки, потому как еще предстоит сходить в баню, в жаркий пар и холодную маленькую, потом влезть в чистое белье, которое будет скручиваться и не налезать на родное красное тело, и можно будет ма-тюгнуться по такому случаю и заставить банщика-татарина, косясь по сторонам, выпить тоже, сказав ему ехидно, что татары-то вроде не пьют, а тот хохоча ответит, что русские чему хошь научат.

Потом тут же внизу, у выхода, позвонить Тамаре и голо-сом сделать, что скоро будет к ней чистенький.

Эх, суббота-суббота, благодать, а не денек, просто суббо-тея, и-эх. Акимушкин едет домой в троллейбусе в субботу, любит всех и хочет поговорить, но имеет большое к себе уважение и первым с разговором не лезет, чтоб случайно не обидели грубостью или еще хуже пониманием его пьяно-го состояния и молчанием к нему.

Но поговорить очень хочется, то есть вот, человека, кото-рый бы с ним сейчас заговорил, Акимушкин полюбил бы

нежно и надолго, может быть, даже навсегда, так ему хочется, чешет в спине, а руки, которые держат тело на поручнях, устали; но люди в троллейбусе не желают знать, что едет вместе с ними Акимушкин, который хочет иметь душевный разговор, толкают Акимушкина, как просто человека, еду-щего в субботу домой и все.

И Акимушкин обиделся на троллейбус, очень себя стал жалеть, ругать других, хотел им всем показать, унижить их или поразить поступком.

Вот если бы загорелся троллейбус, они бы все стали кри-чать, топтать детей и вылезать в окна, а он бы их всех унижил, детей бы взял и вынес на руках, обгорел бы, и Тамара завтра будет тихо сидеть у него в больнице, трогать бинты.

Тамара образовала холодноту в животе.

Акимушкин хохотнул и приятно вытер руку о живот, опять всех полюбил. Эх, суббота-суббота, благодать, а не денек, просто субботея, и-эх.

Вдруг Акимушкин испугался, что полочку у него украли, заерзал, опускаясь в карман, и совсем через испуг обрадовал-ся, когда нащупал свою пачечку на месте, вспомнил, что су-мел сохранить все целиком, так как кто-то гулял и поднес ему стакан угощением, и он ничего не потратил и не разменял, лежит его пачечка целенькая, не так большая, но аккуратнo перетянутая аптекарской резинкой, придумал, что купит Тамаре пробные духи, пусть радуется его подарку, он любит на это смотреть и может даже повести ее в магазин, пусть сама выбирает, вот какой Акимушкин человек, вот как он гуляет с девушками.

От собственной отчаянности у него опять появилась хо-лоднота в животе, и он икнул, прикрыв герметично рот ладошкой, решил, что лучше все-таки купить духи самому.

Пятнадцать минут едет Акимушкин в троллейбусе и непре-станно думает про жизнь, он недавно открыл для себя это занятие, и оно ему полюбилось почти так же, как водка, баня, Тамара, он умилительно удивлялся себе от этого, был уверен, что это ему одному открылось за то, что жил все время по справедливости, правильно, чужого не брал, а осо-бенно за то, что совсем не имел в себе ненависти к евреям,

всегда гордо вел себя с ними, как с равными, и даже лучше. Вот если кто-нибудь обидит еврея, то он обязательно вступится и морду может даже запросто набить.

Самое большое удовольствие от мыслей он получал в понедельник, когда вспоминал выходной, и в субботу, когда его предвкушал, потому что отдохнуть он любил и умел. Работать он тоже умел и любил, так как не мог позволить себе трату времени без удовольствия, чтоб себя не беспокоить скукой и волынкой, да и денежный интерес чего ж терять, но думать после работы о работе, смысла не видел, чего ж о ней думать, работа она работа и есть, людей, которые говорили иначе, не понимал, а то и считал, что врут для выгоды, чего он себе позволить не умел.

По понедельникам Акимушкин вспоминал и прошлое, какое хотел, такое и вспоминал, и это умение тоже его удивляло и приказывало уважать себя; иногда, правда, без него лезли отрывки оркестра и плача матери, когда он уходил довольный служить в армию, уже тогда зная, что вырвался, что не вернется назад в деревню, но вот слышал ее плач и трубы, и лезло по коже тепло сарая, где держали всю скотину, где учила его бобылка, что и как исполнять по мужскому делу, и еще часто приходил ее запах, запах сарая, вечера с дождем, крови, когда резал курицу. Акимушкин пронзительно и сосредоточенно начинал вспоминать, какой он был прилежный ефрейтор, как его наградили нагрудным знаком отличника, как потом он ударно трудился на строительстве, на которое поехал по вербовке, что давало право не возвращаться домой, и он это право честно, очень честно, отрабатал, как много денег отправлял матери, не пил совсем, ставился неоднократно в пример, писался даже в газете. Это помогало.

Но удовольствия от себя в такие понедельники Акимушкин не испытывал и даже не любил себя за растерянность, нервность, будто в чем он виноват, он, который всегда старался себя блюсти, делать все правильно и хорошо, он даже однажды, решившись, стал искать, почему же неприятно ему все это, перебрал каждую мелочь, решил, что нет, никто его не может ни в чем виноватить, ни женщина, которую он не

обижал и не смеялся, а поблагодарил даже, ни мать, которая сама ему говорила, что, по возможности, надо куда-нибудь перебраться, но вот приходил запах, приходили звуки, приходило тепло в тело, и Акимушкин маялся; выпивать регулярно он начал тоже от этой смури. А потом неожиданно проникло в город увлечение природой, стали ездить с субботы на воскресенье с ночевкой в лес, нюхать там лесные запахи и гриб тереть в ладонях, доставать холодную водочку из озера, если повезет, то пить ее под горячую уху, чтоб потом, окунувшись, соединиться с Тamarой, с ее запахом, и спать, пока холод утра не погонит в кусты, а потом опять окунуться, поесть привезенного с собой, сготовленного Тamarой вкусно, специально для выезда.

И Акимушкину полегчало.

Он едет домой в троллейбусе, через одну остановку он спрыгнет-скокнет с подножки, за окном мелькает суббота, все хорошо, все хорошо, все.

Такой уж сегодня день.

Короткий.

Тамара служила на том же предприятии, что и Акимушкин, инженером. Ее ценили.

Она с удовольствием старалась, все выполняла положительно и в срок, тихая, но настырная в деле, без шума и наскока все выходило у нее чисто, потому что знала завидно предмет.

Привычка все делать устойчиво пришла из института, где она была старостой группы, прыщеватой девушкой, которая редко ходила на танцы, потому что не звали, а если и звали, то с шуткой, и прижимали нарочно крепко, не думая, как она потом не спала, а все вспоминала и вспоминала, и хотела серьезного, и ходила даже на главную улицу, чтобы возможно познакомиться, но всегда грустно и неудачно. Была она хорошим товарищем, нещадно судила подружек, которые вызвали зависть своей веселой жизнью, мысли ее были яркие и стыдные, и она многое бы дала, чтобы иметь возможность быть судимой, но такой возможности все не было, и она, естественно, стала судьей, естественно, самой совестливой и жадной до истины.

Но так как она про себя все знала, то жил у нее под грудью страх, что однажды узнают и другие, страх этот и запрятанная просьба делали ее взгляд печальным и значительным, все чувствовали себя перед нею в чем-то виноватыми, ответственными за нее, и потому не трогали, не смеялись, не любили, правда, не сразу; некоторые пробовали сойтись с ней, но она уж в мыслях стала опытнее своих подружек, ей было не интересно на вечеринках, где пляшут, пьют, целуются на людях, со смехом, ей нужно было одиночество с женщиной без посторонних, без времени, голое и отчаянное, а она создала из себя первую ученицу, но знала, что встретит своего, шла терпеливо, ждала установленного для нее часа.

Еще не любили Тамару и за то, что, зная такое про себя, она знала и про других, и это как-то становилось понятно, что вот она знает, хотя ей хватало своих страхов и она никогда не формулировала это, но знала, — и ей не прощалось.

В остальном жизнь Тамары была ясной, ничем не тронутой, все ей было понятно и устроено правильно, то есть, может быть, и не правильно, но если бы вдруг она заметила это, то очень бы удивилась и испугалась, стряслось вот, и зачем?

Была она хорошей хозяйкой, умела вкусно готовить и книги по домоводству читала чуть свысока, но со всегдашним удовольствием человека, хорошо знающего, о чем речь, умела шить, умела вязать, умела различать грибы и знала способы их соленья, имела терпение коммунального жителя. Умела сделать себе прическу, маникюр, умела ходить с большой сумкой, сильно ставя ноги на асфальт и глядя перед собой прямо, зная.

Умела играть на гитаре.

О том, что люди на предприятии ездят с субботы в лес, Тамара узнала от своей подружки, которая уже дважды ездила и осталась очень довольной, приходила в понедельник отдохнувшей и затаенной, шепталась с середины недели, готовясь выехать еще раз, волновалась, чего-то не достав к сроку, радовалась, если все шло хорошо.

Тамаре очень захотелось поехать, о чем она и сказала. Подружка решила, что это можно устроить, она поговорит со своим, чтобы он нашел приличного парня, так как Тамара пони-

мает, что у них уже компания, и одна она будет не у дел, пусть она не думает, все так делают, ничего тут такого нет, ни к чему такой уговор не обязывает, просто так интереснее, вроде рыцаря, который будет о тебе заботиться, передавать бутерброды, бегать за мороженым, помогать дотащить рюкзак домой по уставшему возвращению, ну а если там что, то это уж зависит от самой Тамары.

Тамара ожидала решения ее дела и на всякий случай учила дома гитарные песни, понимая всю выгоду своего умения, спрашивать больше себе не позволяла, будто и забыла о разговоре, спланировала даже выходной без поездки, обманывая, что она и не расстроится отказом. Но нервничала очень, так как очень хотелось, и когда подружка принесла согласие, она ее поцеловала и полюбила на всю жизнь, и вот они уже двое решают, что и как организовать, что принесет Тамара, как ей лучше одеться, ворошат вместе Тамарин гардероб, Тамара дарит понравившуюся кофточку, просит приходиться в дом, как в свой, сговариваются, кто за кем зайдет в субботу, ведь надо немножко опоздать для извинений и передышки легкого разговора, чтобы не засмущаться, портя начало дела. Решили также, что сначала будет все, вроде бы и нет никакого разделения и предназначения, сделав этим возможность оглядеться, но главное, чтоб не очень расстраиваться, если все пойдет плохо, но что подружка подтолкнет Тамару, когда она в шуме будет знакомиться со своим, чтоб Тамара знала, а он тоже будет знать.

По-настоящему же Тамара стала готовиться, когда осталась одна; что-то в ней говорило, что это и будет ее час, что нельзя не суметь, она обязана все предусмотреть.

Тамара без колебаний сняла с книжки небольшую сумму из тех денег, чтобы приготовить еду, которая должна удивить, достала кофту верблюжьей шерсти, которую надевала раз или два, мяла ее и немного испачкала, так как небрежно носит такие вещи каждый день и в походы, ушила брюки/чтобы подчеркнуть стройность ноги, купила дорогие духи, выпросила у подружки продать пляжный ансамбль, совершенствовала со всей своей устойчивостью печальные песни для одного, зная их силу в сравнении с шумными для всех, сходила еще к под-

ружке принять ванну с положенными в воду ароматными крайностями. Все это она делала с возрастающим подъемом, потому что удавалось хорошо, приходило успокоение и уверенность в успехе, а когда она пела перед зеркалом грустную песню, понимаясь глядя значительными глазами, то с облегчением плакала навзрыд.

Когда она в субботу шла за подружкой с рюкзаком и гитарой, мужчины одобрительно на нее взглядывали, что она замечала и гордилась, все более и более довольная собой и сделанным; голубым небом, которое не испортило ее дело дождем.

Приехали они как ни старались рано и стояли за углом в переулке, поджидая возможность опоздать; Тамара заметила, что и подружка смотрит на нее с некоторой завистью, обрадовалась еще пуще, что вот она не подкачала, а даже наоборот.

Когда подошли, все стали согласно шуметь, они что-то отвечать, потом выделилось из общего слово "АКИМУШКИН", подружка толкнула Тамару в бок, Тамара рассмотрела перед собой испуганного человека, потому что и его сильно и неожиданно ткнули в бок, указывая ее, увидела его следующее удовлетворение в глазах, кивнула ему, что согласна, и с этой минуты все их жесты, слова, интонации, взгляды, маленькие и не нужные никому, приобрели для них, предназначенных, особый смысл, который им нравился и рос.

Сели рядом, думая про себя, как там все пойдет дальше. Пошло хорошо.

Акимушкин, который слыл человеком здоровым, на зеленом просторе стал подсакивать и громко кричать, сбивать ладонью высокие листья, выкидывать коленца, и все это было так мило и жизнерадостно, что звало сделать то же самое, и Тамара тоже стала гукать и кричать, — так все начиналось ладно. Они немножко разгорячились и утирали друг другу пот с носа, придумывая, что бы еще такое выкинуть, радуясь, как у них все складывается, и Тамара хотела уже быстрее дойти до места, чтобы покормить Акимушкина вкусной едой и потом пойти с ним купаться на озеро, пока еще не совсем стемнело, чтобы он увидел и оценил, какой она для него надела купальный ансамбль, а он оценить мог, так как

она видела частый его крестьянский глаз на вещах и на людях, которые сегодня во множестве попадались по пути.

Решила, что когда он будет подныривать под нее по канонам, она визжать не станет, а сама обнимет его в воде, это будет и поэтично, и хорошо продвинет вперед их взаимоотношения, так как твердо решила с Акимушкиным сойтись и любить его, тем более, что Акимушкин проявлял робкую гордость, что понравился инженерше; можно будет требовать от него в дальнейшем благодарного поклонения в дневной жизни, дав, конечно, понять его неповторимость в ласках, чтобы держать его в строгости днем и пугать откровенностью ночью.

Понимала Тамара также, что этого обстоятельного человека можно озадачить быстрой доступностью горожанки, потому совсем себе волю не давала, а проверяла каждое движение.

Когда пришли на место, подружка сказала, что рядом на выселках можно купить молоко и что по закону идти должны новенькие, которые сами ищут путь туда и назад, вон в той стороне молочко, пусть собираются. Акимушкин усмехнулся, взял ведро и пошел не спеша, чтобы Тамара, пошептавшись, могла догнать.

Скоро она стала идти рядом, но разговор не вязался. Пришли.

Был десятый час, стадо мычало к дому.

Акимушкин нюхал запахи, перебирал пальцами, вздыхал. Потом пошел быстро во двор, сказал что-то, и вот уже хозяйка вынесла теплой воды, чтобы мыть вымя, и корова далась чужому, далась хозяйской руке и ворчанию, бзыкнули струйки на пустом дне.

Тамара увидела, какой Акимушкин красивый, услышала удары капель, видела долго его большие доящие руки, слышала его тоску, держалась, встряхивала головой, чтобы прогнать теплую одурь, залившую ее всю, но не устояла, охнула и повалилась в коленях назад, на спину, желая только, чтобы кто-нибудь подхватил ее, задержал испуганную неизвестность сзади.

Когда очнулась, увидела близко его дрожащие глаза, ощутила на открытой груди влажное высыхание воды под ветром, поняла счастье.

Обратной дорогой Акимушкин повалил ее, потому что знал, что можно, ожегся крапивой.

Потом Тамара умылась молоком, слушала звяканье ручки о ведро, пила.

Костер горел ярко, тихо двигались знавшие люди, и Тамара заплакала, а Акимушкин удивленно смотрел, чего ж это она плачет, и стеснялся, что может не так поступил, но потом вспомнил, что он у нее первый, вспомнил, что то ли читал в книгах, то ли кто-то рассказывал о таких слезах, и пошел в сторону покурить, чтобы обрести потерянную обстоятельность и здравость.

Вкусно ели, хвалили Тамару, пили водку, купались в красивом озере.

Акимушкин соскочил с троллейбуса, нырнул и вынырнул с флакончиком духов в подарок, заскочил в дом, поджарился в баньке, позвонил бодро Тамаре, что едет к ней, что даже рад, что не будет сегодня шумного загорода, а есть по-семейному тишина.

Тамара не поехала на природу, потому что забеременела, а с Акимушкиным были неясности.

Акимушкин удивился и обиделся, когда не увидел на столе закуски, а, наоборот, услышал такое сообщение, тем более, что он еще помнил свои красивые отчаянные мысли, и духи успел подарить.

Закуски и водочка у Тамары были, но она их припрятала до времени, чтобы Акимушкин осознал серьезность положения.

Но он ничего, кроме обиды, не понимал.

Как же это получается, имели совместное удовольствие, а теперь он в ответе? Только, можно сказать, он стал отходить на природе от плохих мыслей о прошлом, как теперь Тамара валил на него грех?

Очень это обидно и несправедливо, он от нее даже не ожидал, хотя вот и мать писала, зачем связался с образованной, что она запутает его и обманет, и выходит мать кругом права, а он матери и денег-то не посылал с тех пор, тратился на гулянье с Тамарой, а она вон как с ним обошлась несправедливо.

Тамара слушала говор Акимушкина и не плакала, как можно было ожидать в ее положении, а сосредоточилась на сказанном, чтобы возможно опровергнуть, если понадобится, или, наоборот, сослаться на нужное, молчала, сбивая с Акимушкина плавность и приводя его постепенно к ощущению вины, потому что видела, что он обижен искренне и спорить с ним можно только молчанием и временем, да непривычной и долгой пустотой стола.

И впрямь, Акимушкин постепенно скисал, часто крутил головой, а она смотрела на него, была без краски, мытая и торжественная. За что ж это мне, за что, за что, — бегали по Акимушкину мысли, он спросил водки, но водки не дали, и он уж совсем затосковал, не видя никакого выхода, хоть бы она чего сказала и плакала, чтобы он, нашумев, хлопнул дверью и ушел, но она молчит и только блестит чистой кожей, всю субботу испортила, как будто так и надо.

Эх, вот если б сейчас дом загорелся, у Тамары бы выкидывш от страха состоялся, а он бы ее благородно спас и простил, но чтоб больше таких фокусов не выделявала. Да.

Тамара его мысли слышала, понимала его, удивлялась, как он долго мается, какой он крепкий и принципиальный, ей даже нравилась его цельность и определенность, тем более, что у нее припасен для Акимушкина еще сюрприз, который, так она решила, пришла пора говорить. Она начала потихоньку.

Непонятно ей, что это Коленька (Акимушкина звали Коленька) так разволновался и даже обидел ее намеками о матери своей, к которой она, Тамара, относится как к родной, но не в этом дело.

Разве Тамара просила Коленьку о чем-нибудь, а тем паче требовала? Она просто поделилась со своим Коленькой радостью, а он так обидно рассердился, а с кем ей еще поделиться, как не с ним, таким ласковым к ней?

Разве ему было плохо, что напомнил про образованность?

Разве она его когда-нибудь попрекнула, что он не хочет в вечернюю школу ходить, а она инженер? И молчит она всегда, свои знания не выказывает, когда Коленька пьет водочку и ест закуски, чтоб ему не мешать?

Акимушкин облизнул губы и опять попросил водки, но ему опять не дали. Вот бы на нее троллейбус наехал и выкидыв бы от страха сделался, а он бы водителю морду набил при всех, и Тамару на руках в больницу отнес, и сидел бы потом у нее, и передачи хорошие приносил, но молчал бы, чтобы она стыдилась.

Ведь если Коленька не захочет, то можно и не рожать, вот только она давно хотела сына, чтоб лазал к нему на колени, пока она будет хлопотать о закусках?

Торшер бы горел, телевизор бы смотрели все вместе, и Коленька с сыном в зоопарк бы ходил, а летом бы поехали все в деревню, подарки бы привезли, одежду бы новую справили к поездке, чтоб деревенские удивлялись на него, как на совсем городского, и мальчик бы их был чистенький и вежливый с родственниками, и гусей бы смешно боялся? А когда подрастет сынок, они будут с папой спорить о футболе и Феденька будет всегда выигрывать у папы?

И в английскую школу пойдет, и будет гордиться, что его папа ударник тяжелой промышленности?

Вот ей какие рисуются виды, вот она о чем хотела поговорить с Коленькой, и пусть он скажет ей, что здесь для него такого обидного и оскорбительного, что?

Акимушкин взвесил, что ничего, но еще не согласился.

Тамара стала ходить по комнате, собирая на стол продуманно приготовленное, разве ж Коленька не хочет так питаться каждый день, разве ж он не хочет иметь после водочки домашней моченой бруснички?

Акимушкин подумал, что хочет.

Потом Акимушкин спросил, а не будет ли ребеночек очень плакать и его тревожить, и Тамара сказала, чего ж дитя будет плакать сытое и сухое?

И Акимушкин подумал, что правда, чего ж ему плакать, резону нет.

К этому времени уже все стояло на столе очень красиво, Акимушкин пошел на кухню ополоснуть переживавшее лицо, Тамара быстренько переоделась и нарисовалась, чтоб соответствовать мужу за столом.

Вкусно ели и пили.

В этот понедельник Акимушкин думал о себе с еще большей завистью. Был он углублен и светел, с посторонними говорить не желал, потому что очень был тонок и своеобразен, а другие не оценят, чего ж им говорить.

И еще Акимушкин был очень храбр.

В нем всегда сидело, что однажды приедет мать в город с односельчанами, найдут его, крепко побьют и отвезут насильно назад, на свое место, и он знал глубоко, что это будет справедливо, но вот теперь у него есть Тамара, которая так все честно и правильно про него поняла, будет Феденька его бояться, будет говорить по-иностранному, так какая уж тут может быть деревня?

И храбро сказал Акимушкин в троллейбусе, что никакой. И все молчаливо согласились, потому что наплевать.

Сентябрь, 1965 г., Ленинград.

Лия ВЛАДИМИРОВА

ПОРА ПРЕДЧУВСТВИЙ



ПРОЛОГ

Памяти А.А. АХМАТОВОЙ

Вступление первое

Не так уж много чудиков
Наверное, осталось в мире.
На мир просторнее и шире
Взгляну — без розовых очков.
Для юношей и стариков
Сладки иллюзии, быть может.
А нам с тобою кто поможет?
Как нам спуститься с облаков?

От грохота грузовиков
Проснусь в общественной квартире,
Да, в той, под номером четыре,
Под шорох старческих шажков.

Стихи из одноименного сборника.

Там страсть сторонится слушков
И чахнет, ежится в прихожей.
Все двери, уши — настезь! Боже,
Как нам спуститься с облаков?

Там чад кастрюль и котелков.
Под утренний бедлам в эфире
Там некто в старческой порфире
Гоняет сонных пауков.
Скандалы из-за пустяков,
Ошпарен кто-то... Брань... Все то же.
Квартира, родина, рогожа,
Как нам спуститься с облаков?

Там столько верных шепотков
О чьих-то свадьбах... Пир на пире!
И все, как дважды два — четыре,
Вдали от всяких сквозняков.
Урок отрочества таков:
Не дом, так школа... Век мой дожит.
И нет меня... А все же гложет:
Как нам спуститься с облаков?

Вступление второе

Только тень огня
Позабытая...
Не смущай меня,
Память скрытая!

Обручусь с тобой
Не изменю,
А одной судьбой
Неизменной.

А люблю тебя —
 Всем раскаяньем,
 А молю тебя —
 Всем отчаяньем:

Пусть же путь большой
 Нам откроется,
 Пусть душа душой
 Успокоится...

Так просила тогда в Москве.
 Родилась не в свою эпоху...
 Впрочем, это совсем не плохо —
 Быть причастной к лесной траве.

Если б можно еще дышать,
 Если дней не размотан свиток,
 Мне бы холод и зной смешать
 В обжигающий злой напиток.

Ходит русская старина
 Под библейскими облаками,
 Как монашенка вдоль окна
 С разгоревшимися щеками.

Если б можно еще дышать
 Где-то в душных исповедальнях,
 Мне бы слезы любви смешать
 Со слезами своих и дальних!..

1

И вот так, себя избегая,
 Я встаю сегодня другая...
 Окончателен выбор мой:
 Синий зной, тишина сквозная,
 Только я языка не знаю,
 Видно, век остается немой

Оттого, что каким-то летом
 Я себя связала запретом,
 Чтоб ни слова и ни страны...
 Чтобы в доме замолкшем этом
 Я глядела чужим портретом,
 Горьким профилем со стены.

Я бродила полуживая,
 Строфы горькие вызывая,
 Дом фонтанный и то окно...
 Может, грустью была права я,
 Грусть бездомная, вековая
 Одурманила, как вино.

Эти строфы во мне звучали
 В день последний... в самом начале...
 В час горчайший, вблизи, вдали...
 Тень крыла убежала косо,
 И уже отрывались колеса
 От почти не моей земли.

И теперь я как будто снова
 Далью памяти, тайной слова
 Причаститься могу сполна,
 Звоном колокола глухого,
 Стоном праведного Иова
 Оглашается тишина.

Только я одна безучастно,
 Изнурительно и безгласно
 Догораю, как тает снег...
 В тайне сердца хочу всечасно
 Все исполнить... да знать, напрасно
 Доживаю свой праздный век.

Свежий сумрак синагогальный,
 Отчужденный, горький и дальний

Мне на плечи еще не лег.
Лишь в холодной исповедальне
От свечи моей поминальной
Слабо теплится огонек.

Все замолкло во мне и в мире.
Я одна в какой-то квартире
И лежу ничком на полу.
Я теперь слабее младенца,
И вдоль зеркала полотенце
Протянулось в моем углу.

И кого еще ждет расплата?
И кто знает, чья смерть крылата,
В чем возмездие, суд и честь?
И в изгнание — святое право.
Не судите скупую славу.
Осужденных уже не счесть...

Да и встать мне было не просто,
Хоть от пола и до погоста
Так дорога недалеко.
Но все тихо в ночи беззвездной,
И никто (уже слишком поздно)
Не подал мне воды глотка.

Я — в чистилище, за оградой...
А над тихой Тивериадой
Небо в россыпях восковых...
Капля теплится теневая,
И отходит душа живая,
Слишком тихая для живых.

И почти не чувствую тела...
Видно, я уже отлетела
В дом, где холодно по весне,
Где окошко черно и бело,
И где я в тюрьме не сидела,
Но тюрьма темнела во мне.

И в дали мерещится стылой
Все, что будет, и все, что было —
Тени всех былых двойников,
Покаянное доживанье,
Постоянное расставанье
С теплым пеплом черновиков.

2

И неведомая строка
Надо мной тогда зазвучала
И сказала: живи сначала,
Да не будет вовек легка
Ни печаль твоя, ни рука.

Было странно мне в ту минуту,
А меня обступала смута
Все теснея день ото дня,
И хотелось сказать кому-то,
Что пойду, где темно и круто,
Где другая шла до меня.

Та, которая из неволи,
Из отчаянья, зла и боли
Свой выгранивала простор:
Долгий запах смолы и соли,
Подорожник, Волково поле
И России медленный взор.

Ленинграда, Москвы и Рима,
Горных склонов Ерусалима
Обжигающий холодок...
Не могу я подняться с пола,
Душит комнатный дух тяжелый,
И никто в тот час не помог.

Волны музыки тише, тише,
 Я почти что уже не слышу
Несравненной той правоты...
 Ветер мечется в тесной нише,
 Южный ливень ударил в крышу,
 И портрет изменил черты...

Видно, мне не дружить с Рахелью,
 И с ахматовскою метелью
 Поздно по свету мне кружить...
 Час — работе, и век — безделью,
 И ломает меня похмелье...
 Ладно, конечно!.. Нужно жить!

Вот и все... Остальное — прозой
 Я когда-нибудь доскажу,
 И под черной могильной розой
 Белый камешек положу.

Заключение

Я не знаю, который час,
 Я не знаю, что там со всеми...
 Я хотела уйти не раз,
 Пусть свидетелем будет время.

А и тучи твои низки,
 Уж ты родина, Русь, рогожа...
 Да и южные сквозняки
 Пробирают меня до дрожи.

Я спрошу вас теперь, сейчас,
 Воскресая и умирая,
 Из моих ли зеленых глаз
 Смотрит ноченька, ночь сырая?

Светлым жаром горячайших строк
 Легкий пепел в сердца стучится...
 Льется исповедь, жжет пролог
 К недописанной мной странице.

Я спрошу вас теперь, сейчас:
 Может, ложь сживает со света?..
 Из моих ли зеленых глаз
 Смотрит детская грусть поэта?

Если б можно родиться вновь,
 Съединиться с собой навечно!..
 Может, смерть крепка, как любовь,
 Но любовь, как жизнь, бесконечна...

Ноябрь 1975

В СТАРОМ ГОРОДЕ

1

Брожу, поддавшись сладкой лени,
 В тени заборов и дворов,
 Средь пыли, дерева, сирени,
 Калиток, зелени, коров.

По городу гуляли гуси,
 Ведя неспешный разговор,
 И пахли Русью, пахли Русью
 Ступеньки, горница, подзор...

А там по улице зеленой
 К другим подымешься холмам,
 И нет границ земле всхолмленной,
 И несть числа колоколам.

2

И кто-то плачет, кто-то пляшет,
И кто-то манит досветла, —
То память мне рукою машет,
То ветер бьет в колокола.

И можно, прислонясь к коленям
И глядя в прошлое лицо,
Замкнуть старинное мгновенье
В невозвратимое кольцо.

Только тянется печальный —
Не запнуться, не свернуть —
Словно час исповедальный,
Освеженный, белый путь.

Губы дрогнут: — Ну так что же?
Вновь погодка хороша! —
И самой себя моложе
Оробелая душа.

* * *

Жизнь пройти — что поле перейти,
К звездам плыть — они в твоей горсти,
В тень сойти — сойти в нетленный свет,
Смерть найти — понять, что смерти нет.
Тосковать — не то ль, что ликовать?
Убывать — не то ль, что прибывать?
И январь чистой белизной
Не сравнится ль с белою весной?
Слезы лить — не то ль, что брагу лить?
Раз любить — не то ль, что разлюбить?
Оттого-то весело, когда
Пляшет перевертышем беда!

Маме

О нет, ты не была девицей,
Ни матерью и ни женой,
Но как степная кобылица,
Мотала челкой смоляной.

Скачок, погоня, натиск, злючка,
Как перекатывала ты
Два желтых глаза — две колючки,
Горячие до черноты!

Кто там левее, кто правее...
А ты вся ветер, вся азарт,
Дичок, расцветший к суховею,
Полынный, окаянный март.

* * *

Но как сквозь сбивчивые посещения
Пробиться мне, знакомой вам едва,
Чтоб как в объятье, заключить смущенье
В единственные, может быть, слова?

И в горле закипающие звуки
Стихом иль смехом подавить,
Не женские, но женственные руки
Вокруг себя самой обвить.

* * *

... И только удивленная рука
Легонько отстранялась, и недаром
Лицо приоткрывалось для удара:
Кто на виду, в тех бьют наверняка.

А я иду, как с ниткой по песку,
Боюсь мальчишек, взрослых и простуды,
И за собой, как мягкого верблюда,
Поношенное детство волоку.

Там, в небе черном, опаленном,
 Не превращающемся в твердь,
 Пел чей-то голос утомленный,
 Что только смерть сильна как смерть.

И кто с невольною тревогой
 Не слышал голоса того?
 — Здесь много боли, много Бога,
 А за чертою — никого...

О разум, темный и окольный,
 Не ты ль, вселенную творя,
 Сходил с ума безбогомольно,
 Иль зорю бил — без звонаря?..

* * *

Вековая равнина,
 Встань в сиянии снегов.
 Уж прошла половину —
 Ни друзей, ни врагов...

Только день бестревожный.
 Одиночество — в ширь,
 И в ветвях придорожных —
 Осторожный снегирь.

НЕПОЕЗДКА В ТАРУСУ

Ну что же, друг, пора, пока —
 И в этот путь, и слава Богу...
 Когда б взглянуть из-под платка
 На уходящую дорогу!

Как снег в горячем кулаке,
 Сминать колющее смущенье.
 Ах, от меня на волоске
 Себя самой предвосхищенье.

Минуя ровный городок,
 К Оке оврагами спуститься...
 Но из меня какой ходок?
 И есть у смелости границы.

Река, закованная в лед,
 К себе гуляющих не манит,
 И даже первых птиц прилет
 Не скоро, говорят, настанет.

И только холод под хмельком.
 Так шумно в тесной электричке,
 Что сидя возле Вас бочком,
 Не разболтаться бы с отвычки.

И как бы не жалеть потом,
 Что так разбуженно и странно
 Ветвями машет каждый дом
 С той стороны обетованной.

Таит кладбищенский мороз
 Какие имена и даты?
 Чей дух сияет среди берез,
 Плутая тропкою горбатой?

И дом, что нынче тих и пуст,
 Какой печалью закован?
 Про то рябины помнит куст,
 И тот малинник у обочин.

И кольцами, издалека,
 В некольцованном пространстве
 Крудит спокойная река
 В своем спокойном постоянстве.

* * *

Легко мне на покое остывать.
Мне светел день — пустынная палата.
Попыткой быть я занята опять...
А может, я уже была когда-то?

Москва, 1969-1971

Леонид ГУБАНОВ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

Посв. Л. П.

Имен тенистых не забуду
и слез искристых не пролью
я поцелую сам Иуду
и сам Евангелие пропью.

За деревянной той скамейкой
где падает Сентябрь плашмя
с логарифмической линейкой
вы долго ищите меня.

А я в загуле, я в Кусково
где рабский дух и графский блуд,
где клены как стихи гланскова
невинным детям щеки трут.

Не видно правды, Славы кроме,
той, что скандалами сыта
и грусть моя — голландский домик
краснеет с Богом от стыда.

Всех колец металлолом
отнесу в ломбард — лампы,
и вернусь к тебе с трудом,
как могильная лопата.

Гробит сорок сороков
тишину тоски солдатской
не обсохло молоко
на губах москаы кабацкой.

Знаменитой тенью я
скоро скоро успокоюсь.
Здравствуй, милая моя,
помолюсь, потом умоюсь.

Неужели любит грусть
лишь гранит, да белый мрамор.

Если только не сопьюсь,
черным соколом взовьюсь
буду вечным камнем Храма.

СКУПО ОГЛЯДЫВАЯСЬ (ретушь)

Прости меня Барков
за взгляд, что ковылял
от рваных башмаков
до шляпы короля.

Прости меня Москва
за буйство и за боль,
венчала нас тоска,
а веселил запой.

Запомни кровь свою
на женщинах в шелках
тех шуток, где стою
я в порванных шнурках.

Ушел я от икон,
и душу свою мял,
как мнет злодея — гром,
как гнет халдея — храм.

Пенал похож на гроб,
гроб корчит мой пенал,
там, где в цветах — перо
и где пион — финал.

Что мне до ваших лязг,
я - сумасшедший шут
и в черносливе ласк
меня к столу несут.

И свечи не дрожат
и купол — парашют
лучами провожать
пошел на Страшный Суд.

Дней сорок я не пью
над вами стрекозой
я сам вас отпою
и окроплю слезой.

И нечего кричать
в таинственной ночи —
потухла та свеча
с которою ключи.

вам в небе не найти
будь проклят тот сквозняк,
прости меня... прости
но и тебя казнят.

В подсолнухе примет
 поджаренные были
 Я знал один предмет
 любви — его убили.

* * *

Мечты великой перекресток
 где без креста гуляют с хрустом
 где вам без блеска и без блесток
 осталось жить светло и устно.
 Где знаю

голыми руками
 не вытащить моих заноз...
 лукавы слуги пустяками
 и за нос водит нас погост.
 Я знаю черный страх погони
 и пьяно-горький крик — гони!
 Я вижу розу на иконе
 с веселым словом — позвони.

Необходимая печальна
 кому же теплится она?
 На чердаке Новопесчаной,
 Где две бутылки у окна.
 Не поржавев в пустомелю
 Не пожирнею на корню
 Я знаю все, что я имею
 нацеловавшись — догоню.

И что мне шепот чей-то праздный,
 уставшей шубы шепоток...
 Я вам не белый и не красный
 Я вам — оранжевый игрок.
 Одни меня тихонько греют
 другие падать не дают.

а я далекий вижу берег
 где по портретам узнают.
 Судьба как девочка отчаянная,
 что на бульвар пьяна в куски.
 А я люблю ее случайно
 обняв до гробовой доски!

ШУТОЧНОЕ

Победителей не судят
 ведьма карты мне тасует
 вечер правду говорит
 а во лбу звезда горит.
 Хлеб мой низок
 хлеб мой горек...
 сколько перемято коек
 между делом вкривь и вкось
 где зуб на зуб
 кость на кость.
 Сколько водки перепито
 сколько рюмок перебито
 на земле моей святой!?

Губы в кровь у Аэлиты
 будем квиты
 будем квиты
 за могильною плитой.
 Потому мой грубый предок
 испытывший сотни клеток
 мне упрямо завещал —

Плюнуть в морду Тьме и Свету
 и копить поэм монету
 Душу в грусти полоща.

И не видел в этом убыль
и не видел в этом рубль
как заправский хулиган.

Видел в этом платье Любы
оскандаленные губы
и бессмертие в карман!

Игорь БУРИХИН

В СУРОВУЮ ЗИМУ Я ПРОБОВАЛ ЖИТЬ...

ИЗ ЦИКЛА АДОНИС-БРОМ (1964-1971)

эпиграмма на пробуждение

Я проснулся от крика.
И, должно быть, ужасен был крик:
Отвори, отвори-ка,
отвори!.. —

И бросался я к двери,
но смыкалась стена
в голубом недоверьи
и кругла, как спина.

Отголосками крика
я скользнул-таки в крик,
Но теперь: Отвори-ка,
отвори!.. —

сколько помню себя там,
в ужасающем сне,
сам кричал я, над-братом
по обратной стене.

* * *

Сегодня я не подойду к воде,
я не хочу прервать мою прогулку,
хоть не нашел возлюбленной нигде.

Меня томит, как осень гулкий,
и осени — как праздник — поперек,
и как оркестр, что пред концертом строит
все инструменты враз, как плод или упрек,
готовый пасть, тепло шурша листвою,
меня томит, меня тревожит стих —

стрелок с рожком, что может стать дичью
и придурью, и сном неведомых шутих,
взвивающих, как смех, фантазию девичью!..

О, что творится осенью, мой друг.
Поди услышь, под скорбный зов "на вынос"
прозрачной воздуха, под этот звук одру
простому, смертному мешает спать невинность.

И как смелы, как смерти виноград
девичьи души топчут, ставши кругом!..
Я увлечен их праздничным досугом
и повторю: Мне холодно. Я рад.

* * *

Разбито тело. Голова
рассечена на злых объемов доли.
И неприкаянна — лунатик, алкоголик —
вращается в густых телесных солях
душа, держа дурной овал.
И там кристаллизуются слова.

Фантазии у птиц не занимать,
натягивая сетки этой боли.
Явился б кто ужасный, что ли,
чтоб, вопреки моей же воле,
упрямый мозг поцеловать
и выпить жизненные соли,
шаги души, ее овал
и вместе с ним слова, слова...

чтоб мезью тягостной утолен,
я перестал существовать.

* * *

От этой ночи многого я жду.
На этот раз знамения бесспорны.
Одним путем бросает Бог звезду
с крутых небес и расплетает корни
деревьев вековых неумный крот. Комар
все точит время. Шепота с людскою
украшенною наготой — с листвою
за словом лезет ветвь ко мне в карман!..

* * *

песенка для Леночки М.

Ночь никогда не бывает столь темной,
как представленье о ночи.
Только кусочек тоски неумной
в синьке замочен.
А остальное в груди,
хоть и совсем не гляди.

Ночь предстоит утомительным бдением
в будущий день.
Там обернется твое убежденье
и обозначится тень.

Если же лучиков светлого сонма
ты не увидишь и там,
не перепутай места.
Это нескромно.

В сырости серой, сомнительной, томной
не поддавайся на лесть.
Ночь никогда не бывает столь темной,
как она есть.

* * *

Так утомительна листва
в ее полуденном наряде.
И не смешно ли так блистать,
хоть Бога зря, хоть "бога ради"?
И я смеюсь сквозь сон, туман
призываю в ветреном сверканьи
бойцом, поверженным с ума,
и телом темным и зеркальным.

Так солнце давит на листву
своим огнем однообразным.
Так листья гаснут на лету,
ветрам стремительным подвластны.
Так пламя, смешано с водой
там, где границы незаметны,
бросают трепетные ветры
в мою ладонь!

И так, воздетый на ветру,
едва разбуженный Адонис,
любимые ладони
кладу на полутруп.

Суровую зиму в высоком окне
я видел сегодня с утра.
В саду, что как воздух разреженный, к ней
сама прислонялась стена.

Стена, что, как лестничный ряд на пожар,
карабкалась окнами в грязь,
с небес пролилась, будто кто произнес:
а я ведь, мол, предупреждал.

В суровую зиму я пробовал жить,
покуда она не пришла.
Глядел я на землю — на желтую жуть,
и в ней отражалась листва.

И видел, как тихо стоит голова
в саду распрямившихся жниц,
и как от стволов опадают слова
обломками каменных птиц!

И думал: тюрьма, обзаведшись стеной,
уж не образумится ли?
Но эта зима обезумела — в лист
бумаги величиной.

* * *

Е. В.

Ах, так разочаровывают письма,
что ты себя поймал на желаньи,
чтоб не было желанья этих писем.

И так разочаровывают встречи,
что ты себе клянешься в нежеланьи,
в немислимости вовсе этих встреч.

Но разве облака на небе высим
и утверждаем окончанье страсти
мы сами — оттого ли, что ненастье
нас утомило иль любви светило?..

Пытались звать, забыть, предостеречь,
а таинство тогда лишь посетило,
когда любовь сама набрала силу
и скорость и избытком их взбесила
заветных чувств и мыслей наших речь!

* * *

**авто
портрет**

Мне хочется закрыть лицо руками —
боюсь ребенка, что смеется громко.
Все бьется и течет, и самый тонкий камень
одел меня ломающейся кромкой.

Хочу ответить: оттепель, — бежать,
переплавляя в реку возраст, тая.
Тем более опасность возрастает,
когда хочу остановиться, ждать.

На шумных берегах приотворенных рек
и в злосыкой зелени, кричащей
листве из почек — опоздавшей чаще
я слышу все настойчивей и слаще
болезни бег!..

И хочется закрыть лицо руками.
На нем бессилье провело черты.
По улице автомобиль угнали
надбровных дуг. По крыльям носа, рта

течет и углубляется пропажа.
Растет угроза. Пробую. Но даже
и от нее, как от глазастых тоже,
отторжен я.

1973

Я, кажется, завидую Сальери —
был у Сальери будущий мертвец,
а ныне гений, музыкант, бедняжка
с двумя руками, как глаза собачьи,
играл, глядел в окно и думал,
что он завидует, должно быть,
любому проявлению этой жизни,
тому Сальери, что глядит сквозь слезы
на руки некто Моцарта, глупец.

О зависть черная, и ко всему, что живо,
и ко всему, что кажется живым,
и ко всему, что несомненно мертво,
и ко всему, что было, есть и будет,
да, ко всему, что не назвалось мною...

То завязь творчества. И не был
убийцею создатель Ватикана!
1971

дай бог душой отягощенной
разнообразьем плоскостей
в глубине и высоте
всекривизнами обращенных

дай бог ничем услышать зов
ничем утерянным иль тайным
ничем проброшенным в позор
ничем умершим иль случайным

дай бог ответствовать тотчас
как ни внезапна муть в выражах
тому что слышал умиравший
но от умерших отличась

дай бог глотком забвения
не растворить в себе озноба
взметни опять очами злобу
у мальчика для бития

дай взмах крыла мужской закал
над непрерывным летом женским
дозволь сказуемое жестом
взорвать могущество зеркал

дай бог меж слова и стихии
всему что будет вопреки
не славить бедствия лихие
не проклинать века глухие
не бросить тонущим руки и
от не себя убереги

1968

**В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ В СВЕТ
ВТОРАЯ КНИГА СТИХОВ ЛИИ ВЛАДИМИРОВОЙ
"ПОРА ПРЕДЧУВСТВИЙ"**

В СБОРНИК ВКЛЮЧЕНЫ СТИХИ, НАПИСАННЫЕ
ДО ВЫЕЗДА ИЗ СССР (1969-1973 г.г.), И СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ В ИЗРАИЛЕ (1973-1977 г.г.).

Объем книги — 96 стр.

Стоимость в свободной продаже — 25 лир + НДС,
при заказе по почте — 25 лир (включая пересылку).

За границей — 3,5 доллара (включая пересылку).

Заказы направлять по адресу:

Kirjat Nordau 95/26, Natanja, Israel.

И. ДОМАЛЬСКИЙ

ТЕХНОЛОГИЯ НЕНАВИСТИ

Социальный очерк

Окончание. Начало см. в 25 номере.

ОБРАЗ АНТИПАТРИОТА

Из того факта, что евреи разбросаны по всему миру, советская пропаганда делает сложный двузначный и обоюдоострый вывод: теоретически евреи не являются единым народом, но практически они все же имеют одно общее им всем национальное качество — они неверные люди. Они не годятся в хорошие граждане ни в одной из стран своего проживания.

Только своим косвенным характером и ничем иным оно отличается от аналогичных обвинений, которые предъявляла еврейству нацистская пропаганда: евреи плохие граждане, они пособники врага. Как писал Геббельс, главный идеолог нацизма и министр пропаганды при Гитлере: "Евреи пользуются защитой враждебной нам заграницы. Не требуется более доказывать гибельность их роли для нашего народа. Евреи — посланцы врагов среди нас". (Статья "Евреи виноваты" в газете "Дас Райх" 16 ноября 1941 года).

Настал светлый праздник на антисемитской улице. По Моисеевской получила широкое хождение поэма Сергея Васильева "Без кого на Руси жить хорошо" —

... В какой земле — угадывай...
Сошлись и зазлословили
Двенадцать злобных лбов.
Двенадцать кровно связанных,
Нахальницкой губернии.
Уезда клеветничьего,
Пустобезродной волости...

В поэме нет слова "еврей", но сплошные еврейские фамилии и подчеркнутые мною слова "кровно связанных" выразительно говорят, о ком идет речь.

И восторжествовали "космополитики"! Поэт перечисляет, куда они забрались:

В науку, в философию,
На радио и в живопись,
И в музыку, и в спорт.
Гуревич за Сутыриным,
Черняк за Гоффеншефером,
Смульсон за Кацнельсонами,
За братьями, за родными,
Абрамом и Ильей.

Все они работают, как пишет С. Васильев,

Врагам заморским на руку,
Друзьям Руси назло.

Сергей Васильев — поныне хвалимый поэт. В 1976 году в "Литературной газете" печаталась восторженная статья о его творчестве. И хоть поэма "Без кого на Руси..." не упоминалась, но ее, как и самого Васильева, не вычеркнешь из советской литературы. Что есть, то есть.

Предприятие "космополитиков" терпит, конечно, полный провал, описанный в ликующих строках:

...Как взял их крепко за ухо
Своей рукой могучею
Советский наш народ...
...Вдруг легче задышалось,
Вдруг радостней запелось,
Работать во весь дух...
По-ленински, по-сталински,
Без усталости, с огнем.

В поэме С. Васильева в обобщенном виде выражено все то, что тогда высказывалось в бесчисленных газетных и журнальных статьях. Она представляет собой драгоценную историчес-

кую справку из летописи новейшего антисемитизма. Чтобы его понять нельзя пройти мимо кампании 1949 года. Она показала, чего хотят и что собою представляют антисемиты новейшей формации.

Решающее значение при анализе таких идеологий, как расизм или шовинизм, или великодержавность, или вражда к евреям, имеет не разбор их доводов (занятие — непродуктивное), а постижение той психологической подосновы, которая предопределила их рассуждения. Какую ценность, например, имеет то, что говорит о евреях, о неграх и французах гитлеровская теория? Никакой. Зато она достаточно рассказывает сама о себе. Она показывает ход мыслей своих авторов и сторонников, которые, излагая свои мнения, рисуют свой нравственный и интеллектуальный автопортрет. Все сделано их собственной кистью, так что фальсификация невозможна.

По нацистской литературе бесполезно изучать те народы и социальные группы, о которых в ней говорится. Зато вполне можно изучить общественную психологию тех социальных групп, которые служили питательной средой нацизма. Точно так же мы в состоянии составить себе Суждение о питательной среде той новой разновидности антисемитизма, которая выражена в поэмах и статьях о космополитах, если внимательно их прочтем. В новую среду входят совсем не те люди, которые некогда составляли черную сотню и сочувствующую им массу. Это не те люди, которые верили, что евреи распяли Христа.

Сейчас это новые люди, рожденные эпохой. Они получили образование, обеспечены хорошей работой, они полны веры в себя. Но их новейшая образованность умеет сочетаться с закоренелым фанатизмом, их бьющая в глаза самоуверенность — с подсознательным ощущением своей интеллектуальной ущербности, их пленительная правочность — с будничным стукачеством и их сострадание к негритянским детям — с бесчувственностью к детям в поселке Маалот.

НАШ ВОПРОС — ВАШ ВОПРОС

Еврей, подавший заявление на отъезд из СССР, совершает шаг к бесстрашию. Как нынче говорят, он преодолевает психологический барьер, и в этом ему помогает (а также дает первоначальный толчок) возродившееся в нем человеческое достоинство. Пока есть страх, достоинство унижено. Выпрямляясь, он отбрасывает страх.

Не решусь утверждать, что так произошло с большинством советских евреев. Пусть с меньшинством, но ведь совсем недавно и меньшинства не было.

Масштаб "исхода" не велик, всего процентов пять. Но его психологическое действие многократно превышает его статистическую величину. Дан выход мыслям и чувствам множества людей. У одних, тоскующих о праве человеческой личности жить и думать по-своему, обострилось чувство безысходности и горечи. "Вам хорошо, вы можете уехать", — сказал мне один русский друг. А у тех, кому "хорошо", обострился взгляд на самих себя и возникли сомнения в истинах, которые доньше принимались без рассуждений, как нечто predetermined и неподвластное нам. Я имею в виду отношение к процессу, который был главным, всеопределяющим и всеохватным процессом в жизни русского еврейства в последние сто лет: к ассимиляции.

По видимости — она продолжается. Но что происходит в ее подводном течении?

Все знают (в том числе и демографы, и официальные инстанции), что евреев в СССР больше, чем их числится по переписи. Отлично знают это и сами евреи — и ничуть не удивляются, ибо стало обыденным несоответствие между паспортной записью и внутренним самоопределением: одни записаны как неевреи, но сознают себя евреями, другие записаны евреями, но чувствуют себя крайне неуютно в нашей старой, открытой рубцами шкуре.

Таких, кому в еврейской шкуре неуютно, становится все больше — или по крайней мере до 1970 года становилось все больше. Это легко установить, сопоставив цифры переписи

1959 и 1970 годов. День переписи — единственный по своей внутренней глубине день в жизни советского еврея: в этот день он анонимно отвечает на вопрос, к какой национальности хочет принадлежать. Хочет, а не принадлежит по рождению! В день переписи национальность опрашиваемого записывается не по его паспорту, а по его устному заявлению.

Из устных заявлений, записанных работниками переписи, безусловно выявляется, хоть и не в полной мере, кем хотели бы быть евреи, если бы паспорт не определял их национальную принадлежность.

В 1959 году объявило себя евреями 2.268 тысяч человек, а через одиннадцать лет — 2.151 тысяча. Такое падение численности не может быть результатом падения рождаемости. Для того, чтобы получился столь разительный результат, рождаемость в еврейских семьях должна была бы снизиться в несколько раз по сравнению со средней для шестидесятых годов рождаемостью в городах. Конечно, этого не было. А был просто отказ от своего еврейства, никакого значения, впрочем, не имеющий для жизни "отказчика" — просто психологический импульс. Но множество одинаковых импульсов дали статистическую цифру: антирост еврейского населения на 117 тысяч. Если иметь в виду, что естественный прирост все-таки был, то "отказчиков" было значительно больше: тысяч двести, а, может, и все триста.

Предвижу возражение: "Вы ошибаетесь! Никакого принуждения нет. Люди всегда выбирали между стариной и прогрессом, так происходило и здесь, они добровольно шли и идут в русскую культуру, и это продолжается сто и больше лет".

Действительно, уже давно евреям не предлагают на выбор, как в средние века: либо креститесь, либо мы вас уьем (или в лучшем случае — выгоним из страны). Выбор иной, его еще в прошлом веке сформулировала сама жизнь: либо коснейте в своей ветхозаветной неподвижности, либо прогрессируйте вместе с той нацией, которая обладает школами и университетами, в то время как у вас одни ешиботы.

Принуждения нет. Но ассимиляция означает уподобление. Всегда естественно уподобляются тому народу, с которым живут бок о бок. Евреи в царское время жили почти все в

Польше, в Литве, в Белоруссии и на Украине — в черте оседлости. Если б они ассимилировались естественно, они должны были бы уподобляться полякам, литовцам, белорусам и украинцам. А они уподоблялись русским.

Французский еврей хотел переделать себя во француза — понять можно. Но тот факт, что украинский еврей стремился сделаться русским, а не украинцем, заставляет внимательно подумать, где граница между добровольностью и принуждением, между свободным развитием и насильственной русификацией.

Все это было чрезвычайно важно еще в то время, когда шли ожесточенные теоретические, тактические и всякие иные споры между еврейской социал-демократической организацией "Бунд" и большевиками.

В 1913 году Ленин в полемике с Бундом писал: "Против ассимиляторства кричат только благоговейные созерцатели еврейской "задней" (см. статью Ленина "Критические замечания по национальному вопросу", 1913 г.). Довод от задницы — поистине могучий теоретический довод. Он донныне действует на тех, кто отрицает за советскими евреями право вспомнить о своей культуре.

Далее в своей статье Ленин сравнивает ассимиляцию евреев с процессами, происходящими в США: "Кто не погряз в националистических предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе ассимиляции наций капитализмом величайшего исторического прогресса".

Итак, стерта коренная разница между образованием новых наций через слияние эмигрантских потоков в США, Канаде, Австралии и Латинской Америки — и растворение малых народов в главной, большой нации, которое всегда было характерно для стран Европы и в особенности для России.

Английский капитализм не сумел ассимилировать ирландцев, а немецкий — чехов. Кто решится утверждать, что если бы английский капитализм сделал с ирландцами, а немецкий — с чехами то, что российский начал делать с евреями, то это был бы "величайший исторический прогресс"?

Перенять язык, как ирландцы и шотландцы переняли английский, это лишь начало ассимиляции, но еще не ее решающая фаза. Решающая фаза наступает тогда, когда твою национальную культуру и твое национальное самосознание приравнивают к заднице. И ты принимаешь это сравнение в качестве справедливого приговора истории, вынесенного всей твоей нации.

Еврейская ассимиляция служила подспорьем для политики русификаторства: использовать тягу к просвещению, чтобы исподволь растворить просвещаемый народ. Победоносцев, один из идейных столпов великодержавности, так и предлагал: одну треть евреев заставить уехать, одну треть заставить умереть, а последнюю треть заставить раствориться.

Программа Победоносцева медленно, но верно выполняется, только растянутая во времени и поделенная между тремя исполнителями: царское правительство в основном выполняло ее первую часть (заставить эмигрировать); вторую часть — уничтожение — выполняли погромщики, но они работали кустарно, и ее с превышением осуществил Гитлер; а третья часть программы, самая деликатная, движется успешно, но еще ждет своего завершения.

Так как завершение уже маячит вдали, то нетрудно с бесстрашием исследователя объявить: да, все что было, было правильно. Все шло исторически закономерно. Иначе не могло быть, таков исторический прогресс, он требует издержек.

Но прогресс бесконечен. После того, как 82 процента советских людей сообщили переписчикам в день переписи 1970 года, что их родной язык — русский, прогресс не остановился. Жизнь идет дальше, подвергая жестокому сомнению старые критерии: что есть прогресс и что есть регресс.

На ассимиляции дело не останавливается. В том виде, какой она имела до нынешних дней, она изжила себя. Еще лет сорок-пятьдесят назад образование открывало перед евреем такую же перспективу, как и перед любым гражданином советской страны. Сейчас — нет. Сейчас ни образование не дает еврею равенства, ни равенства у него нет, чтобы свободно получить образование.

Уж не ради сохранения нации, не ради равенства, о котором мы так много пустых слов слышим, не ради погибших отцов, братьев и сестер евреи перестают убегать от своего еврейства, а ради своей человеческой чести.

Социальная психология не менее богата нюансами, чем психология личности. Почему мы прощаем одному то, что нас коробит в другом? Почему малому народу не дозволено то, что психологически воспринимается, как вполне естественное у большого: протест против ассимиляции? Даже не против ассимиляции, а только против чрезмерного заимствования чужого языка, обычаев, новинок и мод. Так в русском обществе XIX века возникло недовольство тем, что дворянство перенимало французский язык и усердно копировало французский обиход. Вспомните Грибоедова: "Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя род веча и сказал, как собирался в путь в Россию, к варварам..."

А ведь речь шла только о заимствовании, а не о полном самоуничтожении!

Старый антисемитизм пытался вынуть душу из еврейства разными путями вплоть до физического уничтожения всего народа. Антисемитизм наших дней принуждает евреев своими руками вынимать из себя душу и швырять ее в отходы прогресса.

По-видимому, советским евреям в какой-то дальней перспективе отведена роль народа (или народности, как в советской печати именуют тех, кто поменьше числом), который первым из малых самоуничтожится.

Все нацелено на то, чтобы советский еврей, пройдя все ступени национального самоотречения, в конце концов возненавидел разрисованный всеми красками ада Израиль, который одним своим существованием портит ему жизнь и карьеру. И когда это будет достигнуто в нужных масштабах, решение вопроса придет само собою. Зачем убивать евреев? Еврейство само себя прикончит.

Вся эта проблема не является проблемой одних евреев. Уже только потому, что она связана с вопросами просвещения, она должна интересовать каждого истинно просвещенного человека. Такова зримая, в основном житейская сторона дела. А есть еще и внутренняя, нравственная.

Связь между антисемитизмом и падением общественных нравов не лежит на поверхности подобно связи между числом убийств и количеством выпитого алкоголя, но она не менее глубока.

Антисемитизм чем далее, тем яснее сплетается с антиинтеллигентностью, с ненавистью к свободной мысли.

Опасность растет: во-первых, от того, что метастазы разносит пропаганда, проникающая во все сосуды общественного организма. И, во-вторых, от того, что наше сознание еще не научилось понимать свободу как право каждого, как бы ни был он мал, иметь свои ценности. В демократии мы, дети русской истории и воспитанники советского строя, хорошо усвоили, что все сомнения разрешает большинство голосов, но не осознали права меньшинства сомневаться, спорить и отстаивать свою правоту, доказывая большинству его ошибку.

Еврейскому меньшинству не разрешено спорить. Это, вероятно, самый больной пункт проблемы, и отнюдь не чисто-еврейский. Происходящая на глазах у всех самоликвидация советского еврейства служит грозным предзнаменованием для России.

Было время, когда для еврея не существовало других вопросов, кроме тех, что затрагивали всю Россию. А теперь из этой ситуации выросла новая. Теперь наш вопрос — и ваш вопрос.

НАС НЕ СПРОСЯТ, НО ВЫЗОВУТ

В дни Брюссельской конференции в "Литературной газете" было опубликовано такое письмо читателя:

"В последнее время лживая западная пропаганда с особым усердием трубит о "притеснениях" граждан еврейской национальности в СССР.

Я хочу заявить во весь голос: в нашей социалистической стране никогда не было и не может быть притеснения каких-либо национальностей вообще и в частности еврейской. Всем гражданам нашей многонациональной страны закон гарантирует равные права.

Моя жизнь может служить примером того, как в нашей стране "притесняют" евреев. После окончания средней школы я пошел на фронт. После войны мне была предоставлена возможность учиться.

В 1950 году я окончил высшее учебное заведение, через семь лет защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 году — докторскую. Кто смеет говорить, что меня "притесняют"?

В.С. Этлис,
доктор химических наук,
профессор."

Сделаем небольшой опыт: слегка перефразируем письмо, мысленно перенеся почтенного профессора на двадцать три года назад, в памятное евреям начало 1953 года:

"В последнее время лживая западная пропаганда с особым усердием трубит об арестах советских граждан. Я хочу заявить во весь голос: в нашей социалистической стране никогда не было и не может быть бессудных приговоров вообще и в частности приговоров к расстрелу. Всем гражданам гарантирован гласный и справедливый суд.

Моя жизнь может служить примером того, как в нашей стране свято соблюдается законность. В 1937 году я не был арестован. После войны я снова не был арестован. По делу врачей-убийц в белых халатах — я в третий раз не был арестован.

Кто смеет говорить, что в отношении меня не соблюдаются советские законы?". Подпись: доктор, профессор и т.д.

В СССР в сталинские годы не были арестованы сотни миллионов людей. Но было: без суда расстреляно около миллиона человек, замучено голодом не менее пяти-шести миллионов, посажено в лагеря неисчислимое множество, несколько десятков миллионов. Так разве пример неарестованных в состоянии доказать, что ничего "не было и не могло быть"?

Приводить в пример свои личные обстоятельства и опровергать опыт сотен тысяч людей своим единичным опытом ("я защитил диссертацию в 1957 году" — а много ли евреев защитили диссертации в 1950-1953 годах?) — это излюбленный у нас прием. К имени Этлиса нетрудно добавить гораздо более известные имена, но они вряд ли докажут то, что вообще не доказуемо.

Почему, однако, наша пропаганда так усердно занимается одними евреями?

Все политические партии ФРГ, от правых до социал-демократической, за исключением компартии, требуют, чтобы советским немцам, желающим покинуть СССР, была предоставлена свобода выезда. Они добиваются для своих советских единоплеменников совершенно того же, чего добиваются западные и израильские евреи для советских евреев. Но мы не читали в нашей родной печати писем советских немцев, в которых они отмежевались бы от немецкой социал-демократии и брали на себя смелость заявлять от имени всех советских граждан немецкого происхождения* (для такого случая пришлось бы пустить в ход это хитрое наименование), что они не чувствуют никакой национальной дискриминации и отказываются от западно-германского рая (Израиль-то ведь постоянно называют сионистским раем). И пресс-конференций советских немцев не было в Москве ни одной. Почему?

Потому, что шумиха, поднятая вокруг "граждан еврейской национальности", позволяет обвинять сионизм во всех смертных грехах, какие попадутся под руку, в то время как конкретизация вопроса о свободе выезда сразу меняет его ракурс, и миру становится видна вся подоплека дела.

И к пропагандистской кампании привлекают только евреев, требуя их подписей в осуждающих письмах и заявлениях. Какое бы дело ни было сфабриковано, найдутся люди, чья рука не дрогнет подписать все, что прикажут: угроза увольнения, страх перед снижением в должности заставляют многих делать то, с чем не согласна совесть. Силен страх и слаба совесть! Вспомнив, что мы живем в стране с одним-единственным нанимателем — государством, мы лучше поймем силу страха.

Будет ли среди нас, советских евреев, десять человек, оплеывающих Израиль, или десять тысяч — для судеб мира

*Встречали ли вы в советской печати выражение "граждане русской, якутской, казахской национальности?" Пишут просто: русские, якуты, казахи. Почему нельзя сказать обычное слово еврей? В этой словесной конструкции применено то же самое правило, по которому сионистский конгресс называют шабашем (реже — сборищем), а съезд этлисов, если бы таковой решили созвать в Москве, назвали бы форумом: форум отважных энтузиастов, выполняющих миссию по совету соответствующих органов.

(включая также и Ближний Восток) это безразлично. Безразлично наше поведение для нас самих.

В человеческой морали много атавистического. Считается, что отречься от брата безнравственно, и братоубийство — худший вид смертоубийства. Так сложилось тысячелетиями — вынимать кирпичи из тысячелетней нравственной постройки значит начать ее разрушение. Наверное, поступок Каина со стороны выглядит более аморально, чем казался ему самому.

Антисемитизму наши нравственные сомнения чужды. Он не колеблется. Он опирается на свою науку, согласно которой еврей еврею не брат. От евреев требуют подтверждения правильности нашей Передовой Теории посредством практики: писем и журналистских поисков, направляемых не совсем журналистскими органами.

Логичен и такой оборот дела: нащупав нравственно-податливого Этлиса, соответствующие органы дают ему совет подать заявление об отъезде в Израиль. Возвращение гарантируется. Он уезжает, затем, пройдя заданный срок искуса, подает слезную мольбу о возвращении на свою подлинную Родину. Он плачет заранее условленными слезами. Найдутся и такие, что плачут искренне. Однако Москва слезам не верит, подтвердите свое раскаяние делом, выступите на пресс-конференции. И он выступает перед телекамерой с трагическим рассказом о своих мытарствах. Он выполняет миссию!

В жизни советского еврея под оболочкой личной проблемы своего собственного устройства скрыта нравственная проблема: отношение к своим братьям. Слово "братья" кажется высокопарным. Его не произносят, но оно слышится в подтексте вопроса, который стал обыденным для многих советских евреев: "Что там слышно в Израиле?"

В наши дни проблемы решают парадно одетые, представительные люди, остерегающиеся забрызгать свой костюм кровью. Их речи льются на заседаниях, а кровь пусть льют арабы, израильтяне, африканцы. Лить кровь — свою и чужую — стало уделом малых народов.

Каково же будет наше отношение к тем, чья кровь льется? В политическом смысле, повторяю, оно не имеет никакой силы. Сила его, и вес его, и смысл его — чисто нравственный.

То, что в нас, советских евреях, осталось так мало еврейского, осталось не по нашей воле. Но нас об этом не спрашивают. У нас не доискиваются, каковы наши внутренние переживания. Но внимательно следят и взвешивают, что мы говорим и делаем.

Как во всем нашем обществе, так и с евреями: думай про себя, что тебе угодно. Но говори и делай, что угодно начальству.

Вряд ли человеку, даже верящему сообщениям нашей пропаганды о сионистах, ястребах и голубях, будет симпатичен еврей, заявляющий в своем письме в редакцию, что граждане еврейской национальности имеют равный со всеми доступ к образованию и труду. Он видит, что это ложь. Он сам (или его родственник, знакомый, друг) работает в закрытом учреждении и хорошо знает, что евреев туда не берут.

Создателем ситуации является тот, кто первым капитулировал, согласившись лгать на самого себя. Прекрасно сказал Фазиль Искандер: "Каждый раз выбор за нами и ответственность за выбор тоже. И если мы говорим, что у нас нет выбора, то это значит, что выбор уже сделан". Это верно во всех случаях жизни. Пересмотрите свои прошлые поступки: был выбор!

Сионистский рай, израильский ад — и то, и другое для нас, советских евреев, отвлеченные понятия. Реально чистилище. Его боятся все, и больше всех — советская интеллигенция. Оно отличается от Дантова чистилища двумя характерными особенностями: первая — в него вы попадаете не единожды, а столько раз, сколько найдут нужным "там", в Соответствующем Кабинете; и вторая — кто с ним познакомился ближе, легко может познакомиться и с другими неприятностями. Одна мысль об этом ужасает интеллигента.

И я знаю, что девять десятых из тех милых, умных, высокопорядочных интеллигентов, с которыми я, вы, он и все мы делимся своими не совсем благонамеренными мыслями, обомлеют и растеряются, когда их вызовут в чистилище. Почему они так пугаются, они не сумеют связно объяснить, как не объяснит никому кролик, почему он сам идет в пасть удава.

Впрочем, насчет кроликов это легенда. Известный исследователь жизни животных Бернгард Гржимек пишет: "Неподвижность змеиных глаз и породила легенду о том, что змеи якобы гипнотизируют, как бы парализуют свою жертву взглядом". На самом деле, объясняет Гржимек, жертва просто цепенеет от страха.

Взор служителя чистилища, устремленный на вызванного в его кабинет интеллигента, не обладает гипнотизирующими свойствами. Напротив — поверьте опыту автора! — его глаза обычно очень невыразительны, а взгляд равнодушен. Жертвы цепенеют еще до того, как встретятся с ним — от одного своего представления о нем. Поэтому и выбирать линию своего поведения тоже надо заранее. Впрочем, перед нами такая область, в которой советы большей частью бесполезны. Свобода выбора остается за человеком, и если он цепенеет и дрожит, значит он уже сделал свой выбор.

Начало капитуляции — страх, дальше само катится.

— Вы считаете себя почти не евреем. Очень хорошо, но мало. Отрекитесь от отца и матери. Согласны? Все еще мало. Отрекитесь от братьев и сестер. Отреклись? Отлично, Юзеф Абрамович, только тут нужна ваша подпись, таков порядочек. Мы ведь любим порядочек, сами знаете. Вот здесь, под каждой страницей отдельно, в самом низу. Подписались? Видите, как просто. А вы боялись, дрожали. Уймите дрожь, уважаемый, вы свободны. Когда вы еще раз понадобится, мы вас вызовем. Вы свободны, идите.

Вы свободны. Мы свободны. Я, ты, он свободен...

ИСТОРИЯ И САМОСОЗНАНИЕ

"Если б евреев не было, их бы выдумали антисемиты", — написал Жан-Поль Сартр в книге "Размышления о еврейском вопросе", вышедшей в свет тридцать лет назад. Она давно переведена на многие языки, но не на русский.

Антисемит, по описанию Сартра, это стадный человек, испытывающий страх перед размышлением. Антисемит "считает себя простым человеком, средним или даже посредствен-

ным... Но не следует думать, что он стыдится своей посредственности. Наоборот, он ею наслаждается... Это человек из толпы... Существует откровенная страстная гордость людей посредственных, и антисемитизм является именно пробой ревалоризации (придача чему-либо новой ценности) посредственности как таковой, попыткой образования элиты посредственности..."

И далее:

"Не следует путать... превосходство с ценностью... Ценность надо искать, и так же, как истину, ее добывают с трудом, ее нужно заслужить самому... Поэтому непрерывно, от начала до конца жизни, мы ответственны за то, чего мы стоим. Антисемит бежит от ответственности... Его мораль избирает шкалу твердых, окаменелых ценностей. Он уверен, что он всегда, что бы он ни сделал, останется на вершине этой шкалы... В страхе перед свободой он избрал неотвратимость..."

Положительно, не трудно понять, почему у нас не перевели эту книгу Сартра...

Но одно его утверждение я решительно оспариваю, — а из него вытекают и другие его ошибочные, по-моему, выводы. Речь идет о его постулате, который Сартр ничем не пытается доказать. Он пишет:

"...Их коллективная память хранит только память о погромах, гетто и изгнаниях, о монотонном страдании, топтании на месте в течение двадцати веков. Евреи не являются еще народом историческим, хотя они самый старый или один из самых старых народов на земле". И в другом месте: "Если утверждение Гегеля, что данное общество настолько является историческим, насколько сохраняет свою историческую память, соответствует действительности, то еврейство является наименее историческим из всех, ибо может вспомнить только о многовековом мученичестве или о многовековой индифферентности".

Утверждение Гегеля полностью отвечает действительности. А вот утверждение Сартра ей не отвечает ничуть. Еврейство не просто "может вспомнить", но и поистине помнит всю свою историю от зарождения патриархального рода Авраама, Ицхака и Яакова.

Национальное самосознание — это как бы углубленное в историю этническое самосознание. Человек считает себя шотландцем или французом, так как знает, что его мать, отец, дед и бабка шотландцы (или французы). Тут начало самосознания этноса: ближайшие предки.

Но понятие "народ", к которому я, ты, он принадлежим, не может ограничиться семьей и родом. Оно требует расширения: не только я и ближайшие родственники, но и все сознающие свою общность со мною, составляют мой народ. Все мы, уверенные в том, что мы дети одного народа, опираемся в этой своей уверенности на общее всем нам историческое воспоминание, пусть оно и не будет во всех своих частях достоверным.

Как русские считают себя потомками тех племен, над которыми княжил Владимир-Красное солнышко, крестивший своих подданных в Днепре, как французы считают себя потомками галлов, восставших против римлян, как испанцы помнят свою реконкисту, как любой народ считает себя народом, опираясь на свои исторические воспоминания, так и евреи потому объединяют всех себя в своем сознании, что хранят общую память не об одном лишь "монотонном страдании" и жизни в гетто, а о всей своей истории от кочевий маленького пастушьего племени в Ханаане до сегодняшнего дня.

Сартр сам подробно и с тонкой наблюдательностью говорит о еврейском рационализме мышления, который отрицает все иррациональное и магическое и, в конце концов, выражается "любовью к абстракции". Верно, но из чего оно проистекает? По Сартру — исключительно от ситуации, в которой находится еврей. А мне думается, в значительно большей степени — от многовековых занятий своими книгами.

Склад ума еврея вырос из талмудической казуистики, из уверенности, что логическими доводами можно все объяснить, из стремления все вокруг осветить светом логики. Спиноза и Маркс обладали изошренным еврейским умом казуиста и книжника. Антиеврейское настроение Маркса (а оно бесспорно) отражает, как ни странно, еврейский склад его ума: воображать, будто доводами рационалистического мышления удастся снять с себя позорное клеймо еврейского торгашества.

ва. Чтобы морально самоукрепиться (а также, вероятно, оправдать своего отца, крестившегося, когда мальчику было три года, и переименовавшего его из Мордеха в Карла), Марксу понадобилось оплевать свой народ. Назовите хоть одного мыслителя нееврея, который бы с такой холодной, обдуманной враждебностью писал о народе, родившем его отца.

Гейне был менее строг и ригористичен, он обладал как раз той еврейской чертой, которой Марксу решительно не хватало: умением иронизировать над своими бедами и самим собою (это отличительная черта еврейского юмора). Он был насмешник и скептик и оттого относился к своему крещению проще и рационалистичнее, чем Маркс, а к народу, из которого вышел, — гораздо человечнее его. Как мы видим, стремление к рациональной логике может быть одинаковым, а выводы — разными; в одном случае — враждебность, в другом — сострадание, смешанное с печальной насмешкой.

Но я не причисляю ни произведения Маркса, ни трактаты Спинозы, ни творения Гейне к национальным ценностям еврейского народа. У него есть более древние. Они создавались в течение тысячелетий и составили тот положительный вклад в историю человечества, который позволяет еврею не просто сознать, что у него есть собственная история, но и с уверенностью опираться на нее.

Нельзя рассматривать малый народ только с позиции большого. Он вправе иметь свою собственную внутреннюю жизнь, и она, бегущая по своему естественному руслу, образует его историю. Она может течь медленнее или быстрее — с европейской точки зрения история великих стран Азии тоже текла медленно. Но что такое медленно и что такое быстро?

Однако если внутренняя река жизни евреев текла отдельно от французской, немецкой или русской, это не дает права французам, немцам или русским считать, что ее вообще не было.

Нет сомнения, что ошибку Сартра на Западе давно заметили и, вероятно, давно о ней написали. Но советский читатель и по сей день не знает этого произведения, так что для него оно сейчас подобно свету далекой звезды, дошедшему через

тридцать лет. И то — лишь до очень немногих. (К тем, кого Сартр с таким непревзойденным сарказмом сумел описать, свет его книги не дойдет и через тридцать световых лет. И они будут все так же коллекционировать и описывать черты еврейского ничтожества, не зная, что их собственное ничтожество давно описано).

Но вот что примечательно: то, что произошло у нас уже после выхода книги Сартра, освещает обратным светом следующие его строки: "Социалистическая революция является необходимой, и ее будет достаточно, чтобы уничтожить антисемитизм". Последующие годы показали, что антисемитизм не уничтожен, но исторические условия изменили его личину.

В этой ситуации (употребляя терминологию Сартра) положительно пророчески звучат его слова: "Антисемитизм не является еврейской проблемой — это наша проблема". И далее: "Нужно осознать каждому, что судьба евреев является его собственной судьбой" (подчеркнуто автором). Это с каждым днем становится все очевиднее. Маленький (то есть соответствующий величине моего народа) еврейский вопрос есть отражение огромного вопроса о том большом народе, в среде которого он живет. Кто этого не понимает, тот слеп. Антисемитизм досаждаем гонимым, но он угрожает и жизни гонителей, он разъедает их мозг и опустошает их душу.

Сохраняется ли благородство в трусости? Страх — чувство, которое я не берусь осудить. Страх испытывают в известных обстоятельствах все живые существа — это их реакция на опасность, не менее естественная, чем боль. Но трусость — это даже не вечная инерция страха, а нечто еще более печальное: душевное качество, порожденное страхом, помноженным на ощущение своей неполноценности.

Пока мы сами не прорвем замкнутый круг, в котором враждаемся, никто за нас его не прорвет. Мы, наверное, что-то при этом потеряем: освобождая себя от недостатков а, б, в, мы не застрахованы, что попутно не лишимся достоинств г, д, е, Плата высока, находите вы? Согласен. Но думаю, что плата за свободу никогда не бывает слишком большой.

Можно спорить, кем следует гордиться народу: казаком Ермаком Тимофеевичем или другим казаком — Емельяном Пугачевым, писателем Герценом или писателем Шолоховым, военным героем Иегудой Макаби или дважды героем Советского Союза генералом Давидом Драгунским — понятен спор об именах и деяниях, но бесспорно, что народ должен помнить (и он всегда склонен помнить) имена и события, которые поднимают его в его собственных глазах.

Народная память, как и память отдельного человека, неизменно отбирает для себя лучшее и возвышенное, стараясь отбросить унижительное и неприятное. В эпосах всех народов воспеты героические моменты их истории и собраны героические легенды, а позорные и грустные страницы упоминаются либо только в качестве назидания, либо как повод для рассказа об их героическом преодолении. Таковы свойства памяти, но значит ли это, что народ, охотно вспоминаящий свои героические деяния, не совершал антигероических? Очень даже возможно, что вторых было больше, чем первых. Тем не менее, отбор, совершенный народной памятью, правилен и закономерен. Он помогает нам сохранить наше национальное достоинство даже тогда, когда ничего другого, что могло бы его поддержать, не остается.

Одно из прекраснейших качеств человека — мужество, так необходимое ему, когда он добивается свободы и равенства. И вот я вспоминаю очень древнюю, но подтвержденную археологическими находками, страницу из прошлого еврейского народа — о мужестве защитников крепости Масада, рассказанную Иосифом Флавием и подтвержденную историческими рукописями. И вспоминаю мужество Бар-Кохбы. И множество других известных героев еврейского народа.

Для ассимилированного еврея сознание своего родства со всеми другими (и современными, и давным-давно ушедшими из жизни) евреями является той формой поисков свободы, которая наиболее отвечает как его собственному сегодняшнему положению, так и состоянию всего мира. Для всех малых и недавно еще бывших угнетенных народов личная свобода и достоинство каждого их члена сегодня сливаются с их национальной независимостью.

Мысль о том, что он — потомок евреев, боровшихся, изгоняемых, преследуемых, но всегда остававшихся верными себе, требует от него быть достойным своих предков.

Поэтому мне кажется глубоко неверным мнение, будто национальное самосознание ассимилированных евреев — лишь плод возрожденного антисемитизма. Что касается советских евреев, то здесь просто произошло совпадение во времени, это обычное в истории переkreщение различных общественных процессов, которое, в свою очередь, приводит к их дальнейшему взаимопроникновению.

Думать, что воскресшее в новых формах юдофобство, и только оно, пробудило национальные чувства евреев — это чистый схематизм. Национальные чувства лежат глубже. Они — как уголья в глубине сознания. Антисемитизм же, как и всякая другая форма человеконенавистничества, может лишь сослужить службу ветра, развеивающего то, что погасло, но раздувающего то, что сохранило жар.

Мы евреи изнутри себя, в том же самом значении, в каком русские — русские. Как русскому народу нет нужды примащиваться к Жанне д'Арк, имея своего Кутузова и генерала Раевского с сыновьями, так и евреям нет нужды примащиваться к генералу Раевскому, когда у них есть Элеазар бен Яир и Иегуда Макаби.

Мой стакан мал, но я пью из моего стакана, и в этом национализма не больше, чем у любого другого народа. Вино в моем стакане ничуть не хуже других вин, а возрастом оно еще и постарше: восстание Маккавеев происходило 2140 лет назад, а историческому эпизоду с убившими себя в Масаде сикариями недавно исполнилось девятнадцать столетий.

* * *

Я далек от мистической веры в таинственную кару, постигающую каждую страну, в которой евреи подвергаются жестоким гонениям, но хотел бы обратить внимание на один предметный урок истории. Он состоит в следующем: государство, в котором людей разделили на сожигателей и сожигае-

мых, пользуясь выражением Артюра Арну, историка инквизиции, — такое государство опасно болеет. Если оно не сумеет самоосвободиться, как освободили себя США от системы рабства негров, то оно начнет распадаться. Так распались три величайших империи Европы: древний Рим, средневековая Испания и новейший гитлеровский рейх.

Антисемитизм неизбежно делит страну, в которой обосновался, на сожигаемых и сожигателей. Уклониться от участия в аутодафе не удастся никому. Чем важнее чья-то роль в жизни общества, тем труднее ему отстраниться от участия в сожжении еретиков. Сумел ли я достаточно ясно выразить эту мысль в своих записках, не знаю. И хоть будущее советских евреев трудно представить в розовых красках, но человеческий ум не мирится с мыслью о гибели.

Да и оптимизм заключается не в том, чтобы верить в искренность благодетелей, навязывающих человечеству счастливую жизнь. Может быть, важнее, отдавая себе отчет в безумии мира, не терять надежды, что инстинкт самосохранения все же толкнет человека к поискам выхода из тупика, куда он дал себя завести.

Москва 1977, март.

Вышла в свет книга Липы ФИШЕРА

"ПАРИКМАХЕР В ГУЛаге"

(перевод с идиш Зельды Бейралас)

275 стр. Цена 50 лир. Чеки направлять по адресу:
ул. Аципорним, 6/18, Рамат-Йосеф, Бат-Ям.

ВЫШЛА В СВЕТ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

КНИГА

ЭДУАРДА ШТЕЙНА

"ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ 1920-1977"

"Запад должен знать, что, где и когда писали русские поэты-изгнанники. Книга эта, надеюсь, поможет свободному читателю будущей России. Ценнейшее качество поэзии нашей диаспоры — глубочайшая духовность, позволяющая ей существовать вне родной питательной среды, с успехом замененной возвеличивающим сознанием свободы. Что принесло свободное творческое созидание, что передают в наследство потомкам поэты рассеяния, что сделали они для России — обо всем этом повествует эта книга".

Эдуард Штейн

Это библиографический справочник о произведениях 750-ти поэтов русского Зарубежья.

Цена книги в предварительной продаже — \$6.00.

Нормальная цена книги - \$8.00, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:
E. SZTEIN, 7 Miles Ave.. Woodbridge, Conn. 06525. U.S.A.

Ефим ЭТКИНД

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И СМЕРТЬ



Известно, что Советский Союз — страна наивысших достижений, наибоьстрейших темпов, наилучших возможностей. Страна-чемпион. Советский Союз на первом месте в мире по количеству шахматных гроссмейстеров, книжных тиражей и танцоров на льду. Советский Союз оставил далеко позади всех возможных конкурентов и соперников и по количеству писателей: еще недавно их было шесть тысяч, — теперь, кажется, более семи. Подумать только — семь тысяч писателей! Правда, не на одном только русском языке пишет этот легион литераторов; все равно — эта цифра вызывает восхищение, трепет, содрогание.

Лет десять назад москвичи развлекались такой игрой: несколько человек садились вокруг стола и каждый клал по монете на общее блюдечко, в банк. Ведущий, открывая наугад ежегодный "Справочник Союза писателей", читал подряд фамилии. Участники должны были остановить его на имени, известном хотя бы одному из них; этот один считался выигравшим, и весь банк шел ему. Обычно банк рос и рос — друг за другом следовали десятки неведомых имен, сотни имен якобы писателей. Никто никогда их не слышал.

Идея такого исполинского Союза писателей, многотысячного и бесформенного, принадлежала, кажется, Леониду Соболеву, который в трудное время "новых заморозков", в 1957, возглавил им же организованный Союз писателей РСФСР. Тринадцать лет подряд Леонид Соболев со своими подручными изо всех сил раздувал Союз, затаскивая туда любого графомана, — и чем он был серее, тем лучше. Повторю крылатое словцо Г. Владимова: "Серые начинают и выигрывают".

Зачем эти семь тысяч? Чтобы были незаметны потери. Что на таком грандиозном фоне — исключение из Союза десятка-другого инакомыслящих? Через год после создания российского Союза писателей возникло дело Бориса Пастернака, и Пастернака исключили. "Вон из нашей страны, господин Пастернак! — кричал Борис Полевой. — Мы не хотим дышать с вами одним воздухом". Ну исключили Пастернака, а еще до того Ахматову с Зощенкой, а позднее Солженицына, Чуковскую, Войновича, Корнилова, Синявского, Копелева... На общем числе это не отразилось — остались все те же семь тысяч.

На фоне нынешних семи тысяч вроде бы незаметны и те, кто погибли — писатели, за полстолетия убитые тем или иным способом. Не знаю, сколько их, — называли шестьсот. В 1967 году, в письме съезду писателей эту цифру называл А.И. Солженицын: "Мы узнали после XX съезда, что их было более шестисот — ни в чем не повинных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтается нашими глазами..." Шестисот — подумаешь, всего каких-нибудь десять процентов!

И этих шестисот писателей отдал на расправу и смерть Союз, их собственный Союз, их профессионально-общественная организация. Понимают ли наши западные собратья, что это значит? Осознают ли до конца? До конца, впрочем, не понимаем и мы сами. В нашем Союзе писателей так много славных собутыльников, такой уютный ресторан, такие комфортабельные дома творчества!.. А я думаю, что именно потому нет более страшного места, чем этот комфортабельно-интел-

*Доклад на конференции в Венеции (Венецианское биеннале)

лигентный микромир, где с такой удивительной легкостью не только выносятся смертные приговоры, но и приводятся в исполнение. А ведь создан он был, этот Союз, с надеждой на торжество справедливости и правды, и тогда его председателем был не опричник Сергей Михалков и не "гиена в сиропе" Алексей Сурков, а поэт Александр Блок. Выступая в сентябре 1920 года на пятидесятилетнем юбилее Михаила Кузмина, Александр Блок говорил, что "Профессиональный союз поэтов", учреждение с таким унылым казенным названием, "имеет одно оправдание...: он, как все подобные учреждения, устроен для того, чтобы уберечь вас, поэта Михаила Кузмина, и таких, как вы, от разных случайностей, которыми наполнена жизнь и которые могли бы вам сделать больно".

И Блок продолжал:

"... все те, от лица которых я говорю, радостно и с ясной душой приветствуют вас как поэта, но ясность эта омрачена горькой заботой о том, как бы вас оберечь. Потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно; а поэтов, как вы, на свете сейчас немного.

... многое пройдет, что нам кажется незыблемым, а ритмы не пройдут, ибо они текучи, они, как само время, неизменны в своей текучести. Вот почему вас, носителя этих ритмов, поэта, мастера, которому они послушны, сложный музыкальный инструмент, мы хотели бы и будем стараться уберечь от всего, нарушающего ритм, от всего, загорающего путь музыкальной волне".

Не прошло и десяти лет, как слова Блока оказались смешным и трогательным анахронизмом — молодчики, травившие писателей, не иначе как с глумливым хохотом повторяли это слово у б е р е ч ы!. Не для того мы установили диктатуру пролетариата, чтобы у б е р е г а т ь эстетов, декадентов и дармоедов. Блок не зря твердил, трижды в короткой речи повторял свое "уберечь": Кузмину грозили беды, но миновали. Может быть, "Союз поэтов" уберег? Ему повезло. Но так ли уж он просто умер? Чуткий, изощренный поэт, он писал все меньше, а переводил все больше — Боккаччо, Апулея, Шекспира; молчание душило его; он молчал вовсе не оттого, что исписался, а оттого, что шли тридцатые годы:

коллективизация, убийство Кирова, великие чистки. Промолчал десятилетие, задохнулся и умер.

Эта смерть — типичная для русского поэта того поколения. Так, раньше, гораздо раньше Кузмина умер его защитник Александр Блок, незадолго до смерти сказавший Юрию Анненкову: "Я задыхаюсь... Мы задыхаемся, мы задохнемся все! Мировая революция превратилась в мировую грудную жабу!.."

Эта трансформация революцию в душасую жабу обнаружилась рано. Одновременно шла трансформация Союза "уберегателей" — в Союз душителей.

Историю удушенных еще надо написать. Так умер в 1932 году пятидесятилетний мечтатель А.С. Грин, автор "Алых парусов", — его внезапно перестали печатать, прервав пятнадцатитомное собрание сочинений на восьмом томе, осыпали прездательной бранью, а потом удушили забвеньем.

Так умер в 1940 году Михаил Булгаков, чудом уцелевший от тюрьмы и лагеря, — ослеп и умер, не только не увидев свои главные книги, но уже потерявший надежду и на то, что его рукописи сохранятся и дойдут до потомства, даже до далекого: он, бросивший оптимистическую фразу "рукописи не сгорают", отлично знал, что — сгорают, исчезают бесследно, порой даже без дыма; нет сомнений, что автор "Мастера и Маргариты", в 37-39 годах дрожавший за судьбу своего великого романа, существовавшего в одном экземпляре, должен был умереть от невыносимого напряжения всех жизненных сил; совершить подвиг можно, но жить героем полтора десятилетия — смертельно.

Так умер в 1951 году от чахотки Андрей Платонов, которого злорадно топтали как подкулачника и буржуазного наймита целых двадцать лет. Так умер в 1958 году окруженный всеобщим страхом как бы зачумленный Михаил Зощенко, который после гражданской казни в августе 1946 года мог сказать о себе словами Блока: "Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим..." Так, шестидесяти лет, в 1963 году умер чистейший Семен Гехт, которого знавшие его считали святым, а власти на много лет сослали в Сибирь —

он был талантливым прозаиком, но и десятой доли того не написал, на что был способен. Так умер от рака в 1964 году Василий Гроссман, глубокий и трагический писатель, не переживший ареста — на этот раз был арестован не автор, а созданный им роман. Так умер в 1960 году Пастернак, написавший за год до смерти:

**И каждый день приносит тупо
Так, что и вправду невтерпех,
Фотографические группы
Одних свинообразных рож.**

**И видно так же культ мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.**

А Союз писателей всем им помогал умереть: поношениями, анафемой, молчанием. Уж он-то понимал, кого Пастернак имел в виду, когда писал "стреляются от пьянства": только что пустил себе пулю в лоб генеральный секретарь Союза А. Фадеев — отчего? Говорили — от угрызений совести и от страха перед разоблачением его зловещей роли в гибели вверенных его руководству писателей. Пастернак толкует его самоубийство жестоко: "... стреляются от пьянства, не в силах этого снести". Этого — да, всего этого. Может быть, и помнил Фадеев — он хорошо знал поэтов нашего века — те слова Блока о главной задаче Союза "у б е р е ч ь", потому что "потерять поэта очень легко, но приобрести поэта очень трудно". Может быть, и помнил Фадеев о гибели Булгакова, которого он накануне смерти навестил, а уходя, он, кажется, даже плакал; и о гибели Андрея Платонова; и о творческой смерти многих своих собратьев.

Но о чем уж наверняка не забывал Александр Фадеев, так это о смерти в тюрьмах и лагерях тех писателей, на полицейском деле которых стояла его подпись, — его, генерального секретаря Союза писателей, и которых ко дню его самоубийства, к 13 мая 1956 года, одного за другим реабилитировали — "за отсутствием состава преступления". Может быть, будущий Шекспир напишет когда-нибудь трагедию о Фадееве — и в ней будет сцена предсмертного пьяного кошмара, когда

перед ним пройдут тени им загубленных Исаака Бабея, Григория Белых, Бруно Ясенского, Семена Гастева, Ивана Катаева, Владимира Киршона, Сергея Колбасьева, Михаила Герасимова, Ивана Макарова, Николая Олейникова, Петра Орешина, Бориса Пильняка, Сергея Третьякова, Бориса Корнилова, Павла Васильева, Артема Веселого, Александра Введенского, Даниила Хармса, Осипа Мандельштама, Переца Маркиша, Ицика Фефера... Я назвал лишь малую часть тех имен, которые в ночь на 13 мая 1956 года вспомнились Фадееву, когда он вынимал из ящика письменного стола именной револьвер.

У нас мало воображения и нет памяти. Мы не знаем о том, как умирали в лагерях от голода или пули печальный шутник Олейников, неистовый лирик Павел Васильев, футурист и классик Бенедикт Лившиц, рафинированный европеец Борис Пильняк, блестящий профессор и всеобщий любимец Григорий Гуковский. Вот только Варлаам Шаламов заставил нас воочию пережить смерть Мандельштама, труп которого зэки прятали, чтобы на умершего получать три дня лишнюю пайку. Но мы и другого не попытались вообразить: предсмертной ночи Фадеева. Ну что Макбет: убил Дункана. Трагедия о Фадееве страшнее — в его комнате толпилось столько теней, что им и на сцене не поместиться. Но трагедия ли это, судьба Фадеева? В самом деле, что толкнуло его на самоубийство — раскаяние, страх или ощущение писательской импотентности? Предсмертное письмо он тщательно запечатал и адресовал своему ЦК, членом которого состоял семнадцать лет. И от читателей причину своего крушения скрыл. А этот жест — трагический? Или привычно-рабский?

Самоубийство Фадеева — одно из многих в нашей литературе. В этой области тоже поставлен рекорд: за столетия — сколько их, покончивших с собой писателей, великих и безвестных? Долго ходили слухи о том, что Валерий Брюсов вскрыл себе вены ржавым лезвием "жилетт". Это — предположение, но нет сомнений в самоубийстве Сергея Есенина (1925), Андрея Соболя (1926), Виктора Дмитриева (1930), Владимира Маяковского (1930), Марины Цветаевой (1941), Александра Фадеева (1956), добавим еще неудачную попытку самоубийства Валентина Овечкина (1968). У каждого, разу-

меется, особые причины, у каждого свое отчаяние или своя патология. Об этом писали мало, а все-таки утверждали, что Маяковский был издавна, еще до революции, одержим идеей не "поставить ли лучше точку пули в своем конце"; что он недаром писал:

**Глазами взвила ввысь стрелу,
Улыбку убери твою.
А сердце рвется к выстрелу,
А горло бредит бритвою.**

Или в другом стихотворении:

**Кончено, кончено, ты доканала,
Теперь такая тоска,
Что только бы добежать до канала
И голову сунуть воде в оскал...**

И что даже в пейзаже Маяковскому виделись "самоубийственные" метафоры:

Вот башня — револьвером к неба виску...

Может быть, Маяковский и был безумцем, которого пре- следовала мания самоубийства. Да и у Есенина подобных ме- тафор — "гибельных" — немало:

**Мир таинственный, мир мой древний,
Ты, как ветер, затиш и присел.
Вот сдавили за шею деревню
Каменные руки шоссе.**

**Так испуганно в снежную выбель
Заметалась звенящая жуть.
Здравствуй, ты, моя черная гибель,
Я навстречу тебе выхожу!..**

Или так.

**Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.**

Это уж совсем как у Маяковского:

**Я не доставлю радости
Видеть, как сам от заряда стих.
Со мной не скоро потянете
Об упокой его душу таланте.
Меня из-за угла ножом можно...**

Или у Цветаевой:

**Вскрыла жилы: неостановимо,
Невосстановимо хлещет жизнь...**

О той же мучительно-неотвязной мысли говорят траги- ческие строки другой женщины, тоже замечательного поэта — Ольги Берггольц; таково ее стихотворение "Обещание", написанное (но, конечно, ненапечатанное) в недоброй памяти 1952 году, anno diaboli:

**...Я недругов смертью своей не утешу,
чтоб в лживых слезах захлебнуться могли.
Не вбит еще крюк, на котором повешусь.
Не скован. Не вырыт рудой из земли.
Я встану над жизнью бездонной своею,
над страхом ее, над железной тоскою...
Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою...**

И Ольга Берггольц стихами, созданными в оставшиеся ей жить двадцать лет, доказала, что "Обещание" было дано не зря.

Все эти заклинания — это уже и есть мысль о самоубийстве. Маяковский осуждал самоубийство Есенина ("В этой жизни умереть не ново...") и спустя пять лет застрелился; Фадеев осуждал самоубийство Маяковского — и спустя четверть века застрелился. Не становится ли эта патология — социальной манией? Нет ли в ней общественной закономерности?

И ведь почти у всех этих самоубийств есть общие черты. Убивает себя писатель, достигший славы и занявший свое мес- то в литературе, да и в обществе. Писатель, не склонный — во всяком случае открыто — к инакомыслию. Писатель-незаго- ворщик. Говорят: Маяковскому отказали в визе за границу. Есенин спился, у него была белая горячка — в таком состоя- нии ему и привиделся Черный Человек. У Цветаевой были мучительные отношения с сыном и неустроенный быт. Все это верно. Но верно и то, что все они взяли на себя ответствен- ность за свое общество и свой народ, общество же обернулось чудовищем. Мажорная декламация Маяковского в предсмерт- ной поэме "Во весь голос" великолепна и риторична. Порывы Есенина "задрать штаны бежать за комсомолом" были ему

самому смешны, потому что надрывны и жалки. Цветаева зачеркнула свою предшествующую, нелюбимую жизнь на чужбине — во имя другой, а эта другая оказалась еще более чуждой и мерзкой. В записной книжке Цветаевой 5 сентября 1940 появляются горькие строки: "Я год примеряю смерть (год — значит, вскоре после возвращения в Москву, — в июне 1939 года). Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть... Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — доживать. Горькую полынь".

Главный мотив Цветаевой в этот последний период ее жизни: ничего нет и никого нет. Незачем жить. Нет России, о которой в эмиграции мечтала. Нет Германии, горячей ее любви — там фашизм. Нет возврата во Францию. Нет дома и нет близких. И нет — никогда уже не будет — стихов: "Писать могу, но могу и не".

Вот общая причина, для всех общая: кругом обман и удушливая проза. Творчество убийственно никчемно и невозможно. После "Скифов" Блок уже не писал. После возвращения в СССР Цветаева не выдавила из себя ни строки. Долгое молчание казалось самой Ахматовой началом смерти, но Ахматова была из тех немногих, кто преодолел смерть и воскрес; она называла свою поэзию Фениксом:

Забудут! Вот чем удивили!
Меня забывали не раз.
Не раз я лежала в могиле,
Где, может, лежу и сейчас.

А Муза и глохла и слепа,
В земле прорастая зерном,
Чтоб снова как Феникс из пепла
В эфире восстать голубом.

Такое бывало и прежде. Крупный писатель, близкий Толстому и Чехову, Короленко рассказал про свои разговоры с Чеховым — о Гаршине, единственном самоубийце предыдущей эпохи. Запись Короленко остается актуальной:

"... Мне казалось, что если бы можно было отвлечь Гаршину от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное — снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью.., то, думалось мне, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чехов возразил с категоричностью врача:

— Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уже ничем их не сдвинешь..

Впоследствии мне часто вспоминались эти слова. Через год-два "раздвинулись частицы" у Успенского, и сколько ни искал он исцеления на "врачующем просторе" Родины... ему не удалось стряхнуть все глубже въедавшейся в душу тоски, как и сознания "общей ответственности" перед правдой жизни за все ее неправды. А затем "раздвинулись частицы" и у Чехова. Правда, это были частицы легких, а не мозга, ясность которого он сохранил до конца. Но кто скажет, какую роль в физической болезни играла та глубокая разъедающая грусть, на фоне которой совершались у Чехова все душевные, а, значит, и физические процессы..."

"Раздвинулись частицы" — эта формула сохраняет силу, как и слова о безнадежном "сознании "общей ответственности" перед правдой жизни за все ее неправды". Одни кончали с собой — это были самые сильные или самые слабые. Другие погружались в пьянство; ведь и эта форма нравственного самоубийства — социальная болезнь советской литературы. В своей последней книге "Взгляд и нечто" В. Некрасов назвал ее — "черное пьянство". Жертвой алкоголизма стали многие видные писатели нашего времени; я назову только нескольких: Василий Александровский (1897-1934), Юрий Олеша (1899-1960), Павел Шубин (1914-1950), Николай Заболоцкий (1903-1958), Ольга Берггольц (1910-1975), Александр Твардовский (1910-1971), Михаил Светлов (1903-1964), Ярослав Смеляков (1913-1972) да и Александр Фадеев.

Этот список можно продолжить. Солженицын обнажил механизм запоев Твардовского, да остановился, не доведя анализ до конца. Борис Ямпольский рассказал о трагедии большого художника — Юрия Олеши. Но вот другой пример — Ольга Берггольц. Молодая журналистка и талантливая поэтесса, увлеченная пафосом первых пятилеток, истая комсомолка, общественница в красной косынке. В 1937 году ее, уже автора нескольких книг, внезапно ночью хватают, допрашивают в подвалах НКВД, топчут до полусмерти. Ее, беременную, бьют коваными каблуками по животу. Из тюрьмы она выйдет, но ребенка у нее уже не будет никогда. Муж ее, блистательный поэт Борис Корнилов, арестован — его расстреляли в 1938 году; ему было тридцать лет. Потом ленинградская блокада; три года по радио звучит чистый лирический голос Ольги Берггольц, помогающий жителям осажденного города не терять веру в освобождение. Конец блокады, конец войны — и вот август 1946 года, Жданов об Анне Ахматовой. Я помню речь Ольги Берггольц над гробом Ахматовой: никого для нее не было выше. Потом кампания борьбы с космополитизмом, и Ольга Берггольц, героиня войны и прославленная поэтесса, слышит, с каким ядовито-ироническим оттенком партийные начальники произносят ее нерусскую фамилию.

Во сколько атмосфер давление обрушилось на нее, на слабую женщину? Удивительно ли, что она пила мертвую? Чтобы до конца ее понять, нужно не забывать, что она всеми силами цеплялась за свою комсомольскую юность. Коммунистка с 1940 года, она понимала все и в то же время не понимала ничего, потому что хотела не видеть, не слышать. Явление Солженицына она встретила, как благодать, а трещину, возникшую между ее приверженностью партии и порывам к правде, — эту трещину заливала водкой. Иногда у нее были просветы, тогда она позволяла себе говорить прямо и дерзко, но сразу же заглушала сознание вином, и в тот же миг обаятельная, умная, храбрая женщина становилась гадким животным. Ее болезнь — это преступление общества. Все то, что общество заставило ее пережить, — и гибель ребенка, и расстрел мужа, и блокада, и ждановщина, и космополитизм, — не могло не раз-

рушить ее: так или иначе, "частицы" должны были раздвигаться, — она могла сойти с ума, покончить с собой, отойти от литературы. Она осталась поэтом и в то же время членом партии, и вот этого раздвоения не выдержала. Может быть, она не выдержала того, что личность ее не разрушилась вопреки даже многолетней алкогольной болезни.

История советских смертей заслуживает изучения не менее пристального, чем истина жизнью. Число жертв бесконечно больше, чем мы привыкли считать. К советской литературе приложима иная статистика, ее надо еще создать.

* * *

Есть на свете страна, где самоубийство стало национальным обычаем, — Япония. Теперь там разразилась эпидемия детских самоубийств: только за последние два месяца — четыреста школьников. В России такого обычая нет, но самоубийства писателей, мгновенные и медленные, стали общественным бедствием.

На наших глазах все меняется. Еще недавно стена была наглухо замурованной, — у советского писателя выхода не было: прорвавшаяся правда была равна петле. Мандельштам сочинил несколько строк о Сталине — его сгноили в лагере при безмолвии всего мира. Булгаков написал письмо о том, что его душат, понимая, что это самоубийство; уцелел он случайно ("В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп"). Все происходило в темноте, за глухими стенами. Беззвучная темнота рождала отчаяние, отчаяние толкало к "точке пули в своем конце" или к пьяному распаду. С недавних пор открылся выход. Не отъезд я считаю выходом, — хотя и эмиграция была прежде немислимой, фантастической затеей; чтобы переселиться в другую страну надо было разве что украсть самолет! Выход — это г л а с н о с т ь . В темноте уже не происходит ничего — даже разговоры в КГБ немедленно оглашаются на весь мир. Вызвали Вл. Войновича, подсунили ему отравленную сигарету, — через десять дней нам подробно рассказало об этом французское радио; и В. Войнович отнюдь не погубил

себя, разгласив тайну полицейских кабинетов, — наоборот, он стал неодолимо силен. Недавнее письмо Г. Владимова о выходе из Союза писателей не только свидетельство силы духа и блеска пера, но и документ эпохи: сегодня он сильнее их. Письмо Гелия Снегирева о выходе из советского гражданства побило рекорды смелости, — Снегирева арестовали; но его письмо стало достоянием мирового мнения, и если оно, это мнение, не отвлечется в сторону и не задремлет, Снегирев скоро окажется среди нас. Лидия Чуковская, Лев Копелев, Владимир Корнилов говорят в полный голос; они защищены гласностью и славой. Конечно, диктатура может в любой день развязать террор; Сергей Смирнов знал, что он имеет в виду, когда писал:

**И пока смердят сии природы
И зовут на помощь вражью рать, —
Дорогая наша диктатура,
Не спеши слабеть и отмирать.**

А "сии природы" сегодня куда сильнее злопыхателя Сергея Смирнова: за них Хельсинки и Белград, за них Дж. Картер и Венецианское биеннале. Они, эти люди, могут, оказывается, жить в другом измерении и даже дышать, вопреки всему, свободой. Сегодня мы здесь — гаранты гласности. Мы в Венеции — это залог их свободы. А они там — это смысл нашего существования и нашей борьбы. Венецианский форум — демонстрация всемирной силы, которую набирает "инакомыслие", свободолобие, демократия. Сегодня уже никого нельзя погубить втихую — самоубийством или лагерем. Жизнь на Востоке изменилась. Я хочу верить, что в среде нового поколения, — поколения эпохи всемирной гласности — уже не будет горьких судеб Ю. Олеши, О. Берггольц, А. Твардовского — людей, погубленных раздвоенностью и духотой. Появились воздух и свет. Убить — можно, разрушить — нельзя.

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

«КОНТИНЕНТ» № 14

С о д е р ж а н и е

Владимир Максимов — Ковчег для незваных. Из романа.
Иосиф Бродский — Шорох акации. Письма династии **Минь**.
Развивая Платона. Осень в Норенской.
Давид Дар — Речь, которую я хотел бы произнести у своего гроба.
Лев Халиф — Миниатюры из цикла «Мемориальный чердак».
Казимеж Орлось — Дивная малина. Окончание.
Стихи грузинских поэтов. Перевод и предисловие Вас. Бетаки.
Гелий Снегирев — Мама моя, мама...
Мирко Видович — Из книги «Белый рыцарь».
Перевод Н. Горбаневской.

РОССИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

С. Левицкий — Истоки и перспективы свободы.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Т. Женкис — Прощаясь с Анастасом Снечуксом. — Чего мы ждем от эмиграции? Вступительная заметка А. Штротаса.

ЗАПАД - ВОСТОК

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Алексей Орлов — Такова спортивная жизнь.

ИСТОКИ

Виктор Каган — Постскрипtum к приказу.

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Алексей Лосев — Ниоткуда с любовью... (Заметки о стихах Иосифа Бродского).

НАША ПОЧТА

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Главный редактор журнала — **ВЛАДИМИР МАКСИМОВ**
(Представитель в Израиле — Михаил Агурский. Рамот, 6/30, Иерусалим.
"Континент" выходит ежеквартально. Цена отдельного номера 12 ДМ.,
пересылка за счет заказчика. Годовая подписка 40 ДМ., включая пересылку.



A. Neimanis-Buchvertrieb

**Bauer Str. 28 — 8000 München 40
GERMANY — Tél. 37-05-34**

Борис ПАРАМОНОВ

ОРВЕЛЛ: ПРОРОЧЕСТВО-РЕПОРТАЖ

Книга пленила его или, точнее, укрепила во взглядах. В сущности, она не сказала ему ничего нового, но в этом-то отчасти и состояла ее прелесть. Он нашел в ней то, что мог бы сказать сам, если бы умел привести в порядок свои разрозненные мысли. Она была плодом ума, родственного его уму, но несравненно более глубокого, дисциплинированно-го и менее подавленного страхом. Лучшие книги те, — подумал он, — в которых говорится о вещах, уже знакомых вам.

"1984"

1

Марксизм-ленинизм, как известно, — "философия практики". Марксистов интересуют не теоретические формулы истины, а ее практическое воплощение: истина — не состояние сознания, а состояние бытия. Так что теоретиков среди них не должно быть как бы и по штату.

Но вот другой вопрос: а почему нет среди них просто хороших писателей? острых стилистов? литературно одаренных людей? Почему, наконец, люди даже и не литературные, а просто талантливые отходят от марксизма (чаще всего со скандалом)? Марксистская литература за последние полвека — все какие-то безликие циркуляры и постановления, "коллективный разум", письменно оформленный каким-нибудь закулисным канцеляристом из "личного секретариата т. Брежнева". Сейчас усиленно гальванизируют Бухарина. Еще в России попала мне в руки книга его статей на литературные темы, какие-то не то этюды, не то скицы, не то брульоны, со "Злыми заметками" и Роменом Ролланом. Это — не товар. Так сейчас пишут критики из журнала "Иностранная литература". Дымшиц, временами поднимающийся до Корнелия Зелинского. Говорят, Троцкий был блестящий оратор и писатель (по-не-

мецки: не Dichter, а Schriftsteller), это признал даже сам Фейхтвангер, противопоставивший его Сталину чуть ли не единственно в стилистическом отношении. Но это как раз и убеждает меня в основательности моих сомнений: писал-то он, может быть, и хорошо, да вот у власти и не удержался!

Не может торжествующий коммунизм явиться в интеллектуальном блеске и эстетическом богатстве. Ни ритуала, ни парадоксов, ни традиции, ни новаторства. Самый из них утонченный (на рояле играл!) был, по всем показателям, Смердяковым. Иванов Карамазовых среди них не было. Константинов Леонтьевых — не было. Последний, прочитав однажды об опытах просвечивания рыб электричеством, предложил этой методой поковыряться во внутренностях либеральных профессоров. Мыслимое ли дело, чтоб какой-нибудь большевистский публицист, какой-нибудь Д. Заславский, выступил печатно с подобным предложением! Все, что они могут предложить в соответствующих случаях, это апелляция к пролетарскому суду с требованием расстрелять такого-то.

Красота дьявола — пшик.

Об этом однажды задумался Томас Манн ("Гете и Толстой"): не существует ли прямого отношения, некоего метафизического сродства между талантом, художественным даром и правильным взглядом на мир? Это старый, как сама философия, вопрос о единстве истины, добра и красоты, но Манн неожиданно отстранил его конкретным примером: а почему, собственно, политический реакционер Жозеф де Местр был талантливым человеком? Законно ли такое сочетание с точки зрения упомянутой триады? Мы вправе продолжить эти изыскания: а может быть, ежели такая связь существует, он и реакционером не был? В самом деле, реакционер ли Толстой? А если реакционер, то можно ли считать статью "Зеркало русской революции" статьей к р а с и в о й ?

В том самом году, когда Т. Манн опубликовал свое вышеупомянутое эссе, то есть в 1917, возникло явление, окончательно запутавшее вопрос о единстве истины и красоты: левые писатели.

2

Среди левых писателей нашелся один, который коммунистов понял до конца и не задумался это понимание высказать. Вот первая для советского читателя неожиданность: Джордж Орвелл, оказывается, — левый.

А ведь герои его пишут, что он воевал в Испании на стороне франкистских войск! Впрочем, это входит в правила игры и называется Министерством Правды.

Вот главное открытие Орвелла о коммунизме: "Мир сегодняшнего дня это мир босых, раздетых и голодных".

Он хорошо осознает свою нетрадиционность: "В начале двадцатого века представление о будущем как о мире баснословного богатства, высокой производительности, порядка и досуга, — о сверкающем чистотой мире стекла, стали и снежно-белого цемента, — входило неотъемлемой частью в сознание почти каждого грамотного человека". Книга Орвелла "1984" — не в одном ряду с книгами Замятина и Хаксли, она им противостоит. Их стерильный мир ориентирован на Америку. Поэтому их книги называются антиутопиями. Орвелл же написал бытовой роман. Его бы мог написать и Замятин, но он не догадался смоделировать будущее по "Пещере".

Бердяев говорил, примерно, следующее: в утопиях страшно не то, что они не осуществимы, а то, что они слишком легко осуществляются. Эти слова взял Хаксли эпиграфом к "Прекрасному новому миру".

А Орвелл понял, что в этом мире не будет ни культивированной эротики, ни сверхусовершенствованного быта, ни кинематографических "ощущалок". Он понял еще, что в нем грязных кухонь будет больше, чем пыточных камер.

"Кухонная раковина была до краев наполнена грязной зеленоватого цвета водой, издававшей даже худший запах, чем вареная капуста... Госпожа Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением вынул клубок волос, забивавший трубу. Он постарался почище вымыть руки, насколько это можно было сделать холодной водой..."

Вот портрет госпожи Парсонс:

"Ей было лет тридцать, но выглядела она много старше. Глядя на нее, можно было подумать, что в каждой складке ее лица осела пыль... Здесь, в гостиной, которая была лучше освещена, он с интересом заметил, что в складках ее лица действительно сидела пыль".

После этого уже не имеет особенного значения, что ее муж — придурковатый активист, собирающий на какой-то океанический ДОСААФ, а ее дети установили за отцом слежку.

Борис Слуцкий писал:

**Женщины становились символами тягот,
Статуями нехваток и очередей.**

На советского читателя проникновение Орвелла в быт тоталитаризма производит громадное впечатление — едва ли не большее, чем все метафизические партии книги. А ведь метафизика его бездонно глубока, она ни в коем случае не уступает хотя бы "Легенде о Великом Инквизиторе".

О метафизике Орвелла я буду говорить дальше. Постараюсь показать, что она включила в себя все темы и предчувствия русской религиозной философии начала века. "1984" — постскрипtum к "Вехам".

Мне повезло: одновременно с "1984" я прочитал другую, небольшую книжечку Орвелла, изданную по-русски, сделавшую ясными его истоки, его опыт. Я имею в виду не вторую прославленную его книгу "Скотский хутор" (кстати, подтверждающую, что Орвелл — "русский" писатель — по глубине знания и понимания русских тем), а воспоминания об испанской войне — "Памяти Каталонии". Стало ясно, откуда у Орвелла все его знания о коммунизме.

Он сумел догадаться, что война — инкубатор коммунизма. Но главное на войне — отнюдь не смерть, а создаваемый войною быт. Война — способ существования. Война макетировала социализм.

"В окопной жизни важны пять вещей: дрова, еда, табак, свечи и враг... Противник — это далекие черные букашки, изредка прыгавшие взад и вперед. По-настоящему обе армии заботились лишь о том, как бы согреться".

Поймут ли меня, если я скажу, что в приведенных словах — в с я правда о социализме? Читатель "1984"-го должен понять. Он должен, по крайней мере, увидеть, что "теория и практика олигархического коллективизма" в романе извлечены Орвеллом из этого окопного опыта.

Итак, трагедия — в глубине, на поверхности — быт. Помянутый Борис Слуцкий из этого претворения трагедии в быт сумел извлечь эстетический эффект, сделавший его немалым поэтом.

Быт революции, нет — ее бытие строится по этой окопной схеме. "Казалось, что грязь и хаос — побочные продукты революции".

Мне испанская книга Орвелла напомнила больше всего знаменитую статью Александра Блока "Интеллигенция и революция" — ту ее часть, в которой дана ноуменальная картина "позиционной войны": бомба, брошенная с самолета, падает в болото, но иногда убивает корову. Блок писал, что такая война не может кончиться ничем, это — не экстраординарное событие, а образ мещанских будней, это — как бы навечно. У Орвелла в "Каталонии" есть слова, текстуально совпадающие с этими.

Вообще, читая эту книгу, я начинал галлюцинировать: видел в деталях орвелловского репортажа образы наших книг, нашей жизни. И когда он пишет о мальчишке, взятом на фронт и бросившем гранату в собственный окоп — из озорства! — я не могу не вспомнить гулаговских "малолеток" Солженицына. Или вот еще цитата: "Бывали ночи, когда мне казалось, что двадцать бойскаутов с духовыми ружьями или двадцать девчонок со скакалками легко могут захватить нашу "позицию". Как тут не вспомнить одного секрета, раскрытого Баженовым: оказывается, в СССР в 1924 году не было армии.

Эти реминисценции не случайны. Орвелл дал не бытовые подробности, он вскрыл архитипы революции.

В Испании Орвелл встретился с коммунизмом в действии.

Советский читатель, черпающий свою эрудицию главным образом из Эренбурга, привык думать об испанской войне

как "красивой", романтической войне. Ему в голову не могло прийти, что коммунисты в этой войне не участвовали. Теперь выясняется, что они воевали не с Франко, а с троцкистами и с анархистскими профсоюзами. Что во время войны они сумели создать в тылу ЧК не хуже советской.

На этом обмане коммунисты до сих пор стригут купоны. До сих пор они выращивают на испанской войне самые яркие цветы своей мифологии.

3

Один из источников силы Орвелла — это, казалось бы, элементарное умение извлекать смысл из опыта, из голых фактов, из газетной информации. Здоровый английский эмпиризм. Орвелл был бы идеальным политиком для Запада в эпоху противостояния его коммунизму. Он написал "Скотский хутор" в 43-м году, когда Черчилль поднимал тосты со Сталиным. Он увидел гибельность этой политики, делающей в перспективе Запад жертвой коммунистической экспансии. Не потому ли герой "1984"-го Смит, жертва тоталитаризма, назван Уинстоном?

Верно и обратное: не только внимание к фактам позволило Орвеллу строить правильные концепции, но и обладание правильным пониманием позволило видеть факты. Орвелл никогда не был в СССР, но его жизнь знал, кажется, в деталях. (Правда, фантастичность советского быта превосходит всякую интуицию, и Орвелл не мог догадаться, что коммунальные квартиры — средство более надежное, чем так эффектно придуманный им "телескрин".) Дело, однако, не в быте: много достаточно живописных деталей Орвелл мог узнать и из западных газет, и из советских романов. Главное в том, что Орвелл сумел увидеть в подробностях как смысл, так и механизмы тоталитарной политики. Свое понимание он приписал в романе Эммануилу Гольдштейну — автору книги "Теория и практика олигархического коллективизма", отщепенцу революции, в котором можно узнать Троцкого. Это описание совершенно, на сто процентов соответствует теории и практике социализма, как его узнал советский человек.

Повторяю: то, что увидел Орвелл, могли увидеть все. Отсутствием информации Запад не страдал и не страдает. Но почему-то он утратил умение — или желание? — добиваться синтеза фактов, видеть их смысл.

Разве на Западе не знали, что в СССР проводится бесстыднейшая фальсификация истории, изгоняющая из нее не только имена, но эпохи? Что советский террор — это уничтожение не реальных, а потенциальных противников? Или не знают, что в СССР широко применяется психиатрическое преследование неугодных режиму лиц? Знали и знают, но дедукция остается прежней: идее коммунизма эти факты не вредят. Утрачено понимание живой связи идей и фактов. Орвелл увидел эту связь и построил целостную картину.

Это случилось потому, что он сумел выделить из комплекса коммунистических идей, приемов, возделений главное — порыв к власти. (Здесь он сходится с русским писателем-социологом Р.Н. Редлихом, автором замечательных "Очерков большевизмоведения", изданных впервые примерно в то же время, что и "1984".) Это, как говорят философы, системообразующий фактор коммунистической идеологии, теории и практики тоталитаризма (не забудем, что в марксизме, вдохновляющем коммунистов, теория и практика — одно и то же и, следовательно, властвование, практическое руководство есть не средство, а цель). Знание этой пружины (разумеется, тайной) позволяет легко собрать и разобрать весь этот механизм.

Тоталитаризм, по Орвеллу, есть комплекс проблем, означаемых понятиями "равенство", "власть", "война". Успехи науки и технологии в современном мире создали реальную возможность построить эвдемонистический рай, характеризующийся, в частности, максимальным социальным и даже материальным равенством. Но, как пишет Орвелл, "идея земного рая дискредитируется как раз в тот самый момент, когда становится осуществимой". Почему? Потому что в таких условиях феномен власти теряет свое первостепенное значение как фактор общественной стабилизации. Тенденция демократии — к ослаблению власти, к децентрализации ее. Этой тенденции противостоит другая — воля к власти, кореня-

щаяся в изначальных садистических инстинктах человека. Далее мысль Орвелла такова: стремление к власти, к сохранению самого этого явления выделяет общественную группу, которая, однажды этой власти добившись, в своем собственном существовании закрепляет власть не столько как перманентный фактор общественного бытия, а как свою групповую привилегию. Путь к этому — социальный регресс, в самом широком смысле: материальный, технологический, интеллектуальный и т.д. Нужно закрепить бедность, для того чтобы сохранить власть. Поэтому в мире Орвелла поля пахут конные плуги, а книги пишут машины. (Эта деталь отражает реальность тоталитарной жизни, имея в виду перспективу ее "социалистического развития".) Но важнейшее средство социального регресса — это переключение энергии общества с созидательных на разрушительные цели, то есть война.

Здесь начинается самое интересное. Война нужна правительствам не как реальность, а как миф. Нужна не столько война, сколько пустая трата общественного труда, канализация его на деструктивные цели. Нужна также психическая атмосфера, создаваемая войной, обстановка истерии и ненависти. Наконец, война нужна как наиважнейший повод для сохранения власти, сильного режима. То есть война ведется не с внешним врагом, а с подвластными внутри страны. Это — подлинный враг. В действительности войны как бы и нет. Став перманентной, она самоуничтожается. "Война — это мир", — говорит один из трех великих лозунгов "олигархического коллективизма". "Ни мира, ни войны", как говорил Троцкий.

В этом описании Орвелл достиг самого точного попадания. Верность этой как будто умозрительной схемы подтверждается всем содержанием жизни реального тоталитарного общества — СССР. Достаточно хотя бы вспомнить "холодную войну", которая всегда была инициативой социалистического лагеря. У описанной ситуации имеются и возможности развития. Здесь история действительно идет навстречу коммунизму. Война с Китаем — длительная и не ведущая к победе ни одной из сторон — ближайшая перспектива для СССР, и должно быть ясно, что для советских руководи-

телей она является не устрашающей, а желательной*.

Итак, регресс всех сфер социальной жизни, регресс организованный, регресс как следствие волевого решения и сознательного выбора. Ничто так не чуждо идеям автоматического прогресса, определяемого развитием науки, как книга Орвелла. Технократия находит в его лице сильнейшего противника. Ученый сегодня, говорит Орвелл, это "психолог и инквизитор в одном лице". Разве эти слова не соответствуют действительности? История развивается по Марксу, говорят коммунисты. История развивается по Орвеллу, можем сказать мы. Будущее науки Орвелл рисует следующим образом. Ликвидируются принципы эмпирического мышления, им противопоставлен "ангсоц" (читай "диамат"). Только в военных изобретениях может найти себя творческий ум (см. книгу Федосеева "Западня"). Технология развивается лишь для того, чтобы создать новые способы сыска и подавления свободы (ср. "секретную телефонию" и прочее в этом роде у Солженицына; сам Орвелл описывает "телескрин" — машинку, до которой передовая советская наука еще не додумалась, но, надо полагать, додумается с помощью фирмы "Белл энд Компани").

Собственно, для доказательства детального соответствия видений Орвелла практике тоталитаризма следовало бы полностью переписать его роман. Чего стоит одно описание "внешнего" и "внутреннего" слоев Партии. Вот деталь, которую нельзя не продемонстрировать как свидетельство поразительного проникновения Орвелла в самые сокровенные тайны тоталитаризма: "Партия сознательно держит на грани нужды даже привилегированные группы, потому что общий недоста-

* Это, конечно, не значит, что Запад может спать спокойно. По Орвеллу, Западная Европа будет включена в колоссальную сверхдержаву под названием Евразия, противостоящую двум другим: Истазии и Океании. Управляться она будет идеологией "необольшевизма" (Орвелл не знал еще слова "еврокоммунизм"). Только полное поглощение малых государственных образований сделает возможной ту полувойну (без перспективы нежелательной победы, резко нарушающей внешнее и внутреннее равновесие), которая стабилизирует положение в каждой из трех сверхдержав.

ток увеличивает ценность мелких преимуществ, которые имеет та или иная группа, а, следовательно, и их различие". Эти различия, дифференцированность тоталитарного общества у Орвелла — не признак его "цветущей сложности", как сказал бы К. Леонтьев, это создано для фискальных целей государства, разделяющего и властвующего. Эту атмосферу Орвелл сравнивает с той, что существует внутри осажденной крепости, где обладание куском конины решает жизнь и смерть.

Те, кто обладает таким куском, ради его сохранения пойдут на все. Советскому читателю — конечно, из тех, кто способен что-либо понимать, — интимно известно, что советская интервенция в Чехословакию объясняется только нежеланием инструктора райкома партии потерять дополнительный паек — банку икры к седьмому ноября.

4.

Советский человек-житель тоталитарной страны с полной ответственностью может свидетельствовать: обо всем, что касается практики тоталитаризма, Орвелл сказал только правду и ничего, кроме правды. Поставим теперь более принципиальный вопрос: какова данная им теоретическая конструкция "ангсоца" — идейной основы тоталитаризма? Точнее, поскольку мы имеем дело с художником, каковы его интуиции об этих идейных основах?

Скажем сразу же: в постижении идейных глубин тоталитаризма, тех глубин, которые скрыты и от самих носителей тоталитарной идеологии, Орвелл не знает себе равных. Его прозрения в этой области должны быть названы гениальными.

Тот советский человек, который не только способен видеть окружающее, но и помнит, вопреки действию описанной Орвеллом фабрики лжи, носящей название Министерства Правды, помнит прошлое, историю, истину, — тот человек не может не узнать в романе проблематику русской религиозной философии начала века, проблематику русской литературы, величайшего ее гения — Достоевского.

Сразу же возникают ассоциации с двумя его романами: "Братья Карамазовы" и "Бесы". Правда, первый из них у Орвелла сильно переосмыслен. О'Брайен — отнюдь не Великий инквизитор, отчасти даже первый опровергает второго. В его, О'Брайена, сознании отсутствует мотив филантропический, тема жалости к человеку, неспособному взвалить на себя бремя свободы. Он выражает лишенное каких-либо иллюзий сознание класса властителей. Он говорит Смиту:

— Дело в том, что Партия стремится к власти исключительно в собственных интересах. Мы нимало не интересуемся благом других: нам нужна лишь власть... власть как таковая... Все прошлые олигархии, даже походившие на нашу, были лицемерны и трусливы... Мы не из таких. Мы знаем, что еще никто не захватывал власть с намерением отказаться от нее. Власть не средство, она цель. Не диктатура создается для защиты революции, а, наоборот, революция совершается для установления диктатуры. Цель гонения — гонение. Цель пыток — пытки. Цель власти — власть. Вы понимаете меня теперь?

Теснее у Орвелла связь с другим романом Достоевского — "Бесы". У Орвелла присутствует тема Кириллова, тема демонического самоутверждения человека, каковое оказывается, в последнем счете, источником всех коллизий тоталитаризма. Это уже также тема русской религиозной философии. Она же, философски неосознанная, присутствует в марксизме, причем наиболее полно выявляется скорее не в классическом его варианте, а в позднейшем, ленинском.

Самое интересное, что сумел сказать Ленин в десятках томов своих сочинений, — одна небольшая фраза: "Сознание не только отражает бытие, но и творит его". В этой фразе — основа мировоззрения, систематизированного О'Брайеном в пыточной 101-й камере.

Один из лозунгов Партии: "Кто управляет прошлым, тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым". По существу это означает выброшенность человека в некое вечное настоящее, полное уничтожение исторического горизонта. В обществе, лишенном памяти, не мо-

жет быть недовольных, людям не с чем сравнивать свое положение, у них нет точек отсчета, сознания норм человеческой жизни. Если прибавить к этому изолированность их от внешнего мира, то действительность, как говорит Орвелл, можно выворачивать наизнанку. Вот главное философское положение тоталитаризма: не существует объективной реальности — той самой, что "дана нам в ощущении". Провозглашается примат воли — не только над разумом, но и над бытием. Действительность пластична, подчинена воле людей. Такую философскую установку можно назвать волюнтаристической или прагматической, но уж никак не материализмом. Ленинское определение материи, данное в упомянутой формуле, не имеет, кстати, никакого онтологического смысла, это всего-навсего гносеологический принцип так называемого наивного реализма. Материализм коммунистам понадобился не как онтология, а как аксиология. Об этом у нас пойдет речь дальше.

О'Брайен развивает Ленина — именно Ленина, а не кого-нибудь другого: "Реальность существует лишь в умах людей и нигде больше. И не в умах отдельных индивидуумов, которые способны ошибаться и, во всяком случае, недолговечны, а в коллективном и бессмертном разуме Партии. То, что Партия считает правдой, — и есть правда". Создается тотальный миф, управляющий отныне не "объективной реальностью" — Партии нет до нее дела, — а людьми. "... власть, за которую мы неустанно боремся, — это власть над человеком, а не над материальным миром". Последний и главный источник тоталитаризма — идеократия, а метод ее осуществления — насилие. "Природу", "реальность" насилеием не возьмешь, а людей можно. Поэтому такое неустранимое, в природе режима лежащее значение приобретает Полиция Мысли: "Партию вообще не интересуют видимые факты, а лишь помыслы людей". И это — логично, потому что только в мысли, идеально, в данном случае — иллюзорно и фантастично может быть достигнуто желаемое единство — миф. Тайная полиция порождена мифотворческим сознанием. Такова в наше время цена теоретических ошибок.

Нежелание считаться с действительностью, волевое отвержение законов, пренебрежение тайной бытия суть следствия самоутверждающегося человеческого духа, разрывающего с центром мироздания — Богом. "Законы природы творим мы... Вне человека не существует ничего". Это соперничество с Богом в попытке автономного самоутверждения было названо русскими философами человекобожием. Феномен тоталитаризма, берущий начало отсюда, есть, следовательно, проблема отпадения человека от Бога. Воинствующий атеизм не может не породить пыточных застенков, это его столбовая дорога, единственная перспектива, логика и этика. Это узнали на своем опыте люди, пытавшиеся обойтись без Бога. Знал ли это Орвелл?

Да, знал.

О'Брайен говорит Смит: "Властвовать — значит причинять боль и унижать... Быть может, вы теперь догадываетесь, какой именно мир мы создаем? Мир, прямо противоположный глупой гедонистической Утопии, созданной воображением прежних реформаторов... Угодно вам видеть образ будущего? Вот он: сапог, наступивший на лицо человека. Навеки наступивший!"

Смит пробует возражать, он говорит, что мир О'Брайена невозможен, потому что противоречит природе человека. Но что такое человек? И О'Брайен переводит разговор в единственно правильное измерение:

— Вы верите в Бога, Уинстон?

— Нет.

— Тогда что же должно нас сокрушить?

Следует потрясающая сцена: О'Брайен подводит Смита, уже несколько месяцев проведенного в тюрьме и камере пыток, к зеркалу, и тот видит себя — человека: горсть праха, персть земную, кусок разлагающейся материи.

Каковы пределы власти Партии, тоталитарного режима над "природой" — не "объективной реальностью", а над природным в человеке? Может быть, это непреодолимый для них рубеж? Прирожденный демократизм Орвелла внушает ему временами своего рода руссоистские иллюзии. В его мире

только "пролы и животные свободны". Животность, скажем лучше — жизнь, естественная органика бытия кажутся ему иногда последней надеждой. В мире извращенной духовности человеческой становится животность. Юлия, поднявшая сенсуалистический бунт против тоталитарного мифа, иногда понимает смысл происходящего лучше, чем размышляющий о многом Смит. Так, она догадывается, что антисексуальная пропаганда нужна режиму не для прямо провозглашаемых целей, а для уродливой сублимации "прокисших половых желаний" в истерическую ненависть, утилизируемую в нужном направлении. Регресс жизни, определяемый в конце концов ненавистью к ней, не может не привести к угасанию чувственной ее основы. В этом отношении картина, нарисованная Орвеллом, резко отличается от тех, что дали Замятин и Хаксли, "новый мир" которых культивирует секс как средство угашения духа. Чей подход к этой проблеме правильной?

Думается, что Орвелл дал картину, более соответствующую амбивалентной реальности тоталитаризма. Для чего коммунистическим мифотворцам понадобился материализм, если вся их практика свидетельствует о ненависти к материи? Конечно, эта ненависть — форма неадекватной духовности, исповедание материализма должно прикрывать этот вытесняемый из сознания факт. Но на определенном уровне материалистическая ориентация становится полностью осознанной и целенаправленной. Материализм для коммунистов важен как тактический прием, как этика и аксиология для широких масс. Кроме того, материалистический выбор сам по себе достаточно двусмыслен, он ведет не только к гедонизму, но и открывает ближайший путь к страданиям. Маркиз де Сад — современник и, как теперь выясняется, единомышленник французских материалистов. Телесно-материальный состав человека — скорее не субъект расслабляющих дух наслаждений, а объект пыток. Материализм дезинтегрирует целостного человека, превращает его в тело и тем самым нащупывает слабейшую его точку. Ибо, говорит Орвелл, нет человека, способного вынести физическую пытку, и мы не вправе требовать этого от него.

В конце концов отношения Смита и Юлии решаются именно в этой инстанции. Сводник-провокатор Честерфилд, представивший комнату для их свиданий, — символическая фигура. Из этой комнаты путь один — в 101-ю камеру, где они предадут друг друга.

5

Я хочу вернуться к вопросу о красоте дьявола. В применении к роману "1984" его можно поставить так: реалист Орвелл или фантаст, документален его роман или сюрреален? Советский читатель Орвелла восхищается одновременно и бытовыми реалиями, увиденными автором, и глубиной его метафизических прозрений, но он не может не чувствовать некоторой несвязанности этих партий романа. Трудно ему поверить в то, что антихрист явится из кухни г-жи Парсонс. Эти сюжеты связаны в романе лишь одним единством — талантом автора. Талант столь велик, что начинает заслонять собой тему. Так, собственно, и должно быть: в микрокосме, именуемом художественным произведением, нет субъект-объектных отношений, не бывает литературы "о". Но, высоко ценя Орвелла-писателя, мы не должны забывать об Орвелле-человеке, о теме не книг его, а жизни.

Вопрос о "месторазвитии", как сказал бы Р.Н. Редлих, дьявола, о культивирующей его среде, о том, может ли антихрист существовать в сгущениях коммунального быта, — отнюдь не праздный вопрос. Это, некоторым образом, вопрос о перспективах тоталитаризма. Находится ли сознание тоталитаризма на "высоте" его практики? Способен ли он видеть и говорить (пусть на всевозможных "закрытых совещаниях актива") то, что видит и о чем говорит Джордж Орвелл? Наличие такой способности, казалось бы, — необходимое условие для существования, она должна ему помочь удержаться на грани небытия.

Создается впечатление, что своей ясностью, договоренностью, систематизированностью идеология тоталитаризма обязана все-таки Орвеллу. Кто ясно мыслит — ясно излагает, и роман Орвелла выгодно отличается от какого-нибудь учебни-

ка марксизма-ленинизма для вузов прежде всего своим небольшим объемом. Эта книга дает не только синтетический художественный образ, но и производит некую рационализацию тоталитарного хаоса. Ибо в тоталитаризме, несмотря на все его усилия, царит отнюдь не порядок — холодный, бесчеловечный, машинный и т.п., но все-таки порядок, — нет, в нем царит хаос. Сама идея тотальной организации ведет к хаосу. Недавно это показал А.П. Федосеев на примере централизованной экономики. Хаос — и в экономике, и в мозгах. Вообще надо понять, что в каком-то отношении для этой системы водопроводные аварии не только более заметны, но и более характерны, чем плановый террор.

Можно настаивать на иррациональной природе тоталитаризма. Диктатурами управляет не расчет, а эффект. Диктаторы не владеют ситуацией, а владеем мы ею. Допустимо думать, что тоталитаризм порожден не разумом, а волей, причем бессознательной волей. Можно ее назвать, как уже делалось, волей к небытию, стремлением к смерти. Кстати, у Орвелла одна из трех тоталитарных сверхдержав, Истазия, руководствуется доктриной Смертопочитания, или Самоуничтожения (несомненно, реминисценция восточных религиозно-философских построений, даосизма или буддизма). Бессознательный порыв — почти всегда деструктивный порыв. Воля тоталитаризма противится рационализации, и только поэтому режимы противятся более или менее прагматическим реформам. Можно, следовательно, утешаться древней пословицей: кого Бог хочет погубить, того он лишает разума.

Значит, на вековечный вопрос: может ли быть палач умнее жертвы? — мы вправе ответить отрицательно и найти в этом основания для оптимизма.

Но в том-то и дело, что роман Орвелла лишает нас таких оснований. Он показывает ложность постановки вопроса о палаче и жертве. Для палаческого дела ум не нужен, нужна злая воля. Об этом и написана книга Орвелла. Злая воля наличествует в тоталитаризме, и оттого, что она бессознательна, должно быть не легче, а страшнее. Мир действительно

пластичен, действительно покорен воле человека, вплоть до того, что позволяет уничтожить себя. Пусть философы говорят, что убийство свидетельствует полное бессилие убийцы перед жертвой: нельзя уступать палачам и в этом мире. Роман Орвелла призывает к волевому противостоянию злу, к закалу души. Поэтому он остается все еще актуальной программой свободного мира.

"КРОВАВАЯ ШУТКА"
Роман Шолом-Алейхема

Перевод Гиты и Мириам Бахрах

- Неожиданный Шолом-Алейхем...
- Наказание без преступления...
- Истина под следствием... Нация перед судом...
- Актуально вчера и сегодня... А завтра?..
- Призрак счастья... Крушение иллюзий
- Захватывающий психологический детектив...
- В переводе — атмосфера оригинала...

Роман состоит из двух частей.

Цена каждого тома в Израиле — 45 лир.

Цена каждого тома за границей — 7 долларов

Заказы с приложением чека направлять по адресу:

Gita Bakhrakh P.O.B. 170, JEHUD. ISRAEL

Novoye Russkoye Slovo

Oldest Russian Daily - Established 1910

243 WEST 56th STREET
NEW YORK, N. Y. 10019

М. Г. Tel. COlumhus 5-5570

Подписываясь на газету будьте добры послать нам денежный перевод на сумму заказа. Просим об этом, чтобы облегчить нашу работу и ускорить оформление подписки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ежедневное и воскресное издание:

Год — \$50.00; 6 мес. — \$28; 3 мес. — \$17; 1 мес. — \$6.00

Ежедневное издание только:

Год — \$45.00; 6 мес — \$25.00; 3 мес. — \$15.00.

Воскресное издание только:

1 год — \$20.00; 6 месяцев — \$12.00

Заграничная подписка принимается только на

1 год — \$60.00; 6 месяцев — \$35.00

Только воскресное издание для заграницы

1 год — \$25.00; 6 месяцев — \$15.00

— Перемена адреса 1 доллар —

Заграничная подписка воздушной почтой
в страны Европы и Латинской Америки

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$150.00; 6 месяцев — \$90.00

Воскресное издание только:

1 год — \$75.00; 6 месяцев — \$40.00

Отправка газеты в страны Азии, Африки и Австралии

Ежедневное и воскресное издание:

1 год — \$180.00; 6 месяцев — \$100.00

Воскресное издание только:

1 год — \$85.00; 6 месяцев — \$45.00

Подписные деньги посылайте наличными в заказном письме, чеком или почтовым переводом (Мони ордер) простым письмом.

Фаина БААЗОВА

ДЕЛО РОКОТОВА

Окончание. Начало см. в 25 номере.



Пока шел допрос подсудимых Рокотова, Файбишенко и Эдлис, в зале царил предельно накаленная обстановка. Напряжены были все — и суд, и публика, и мы, участники процесса. И вдруг... наступила разрядка, начался допрос подсудимого Иустина Лагуна, и судебное заседание потекло спокойно и поделовому.

Ближайший друг Рокотова и непосредственный участник почти всех инкриминируемых ему действий, кандидат технических наук Лагун до ареста работал старшим научным сотрудником в институте Академии строительства и архитектуры. Дружба их уходила истоками в лагерь, скреплена была лагерной жизнью. После освобождения, уже во время Фестиваля, они вместе скупали валюту у иностранцев.

В показаниях Лагуна снова повторяются все эпизоды, связанные с куплей и перепродажей валюты, уже детально рассказанные Рокотовым и зафиксированные в протоколе судебного следствия. Но реакция зала совсем иная. Никто теперь из публики не кричит и не требует "сбросить его — Лагуна — в Москву-реку" или "поставить к стенке".

Прокурор Терехов ведет допрос Лагуна в странно миролюбивом тоне, без той иронии и того сарказма, какими он сопровождал допрос подсудимых Рокотова, Файбишенко и Эдлис. Председательствующий Громов откинул голову назад и закрыл глаза. Кажется, он уснул под звуки монотонного рассказа раскаявшегося подсудимого.

— Как вы низко пали! — сочувственно говорит ему Терехов.

— Да, я низко пал, — соглашается с ним Лагун.

И казалось, в полной тишине зала публика молчаливо выражала свое сочувствие подсудимому Лагуну.

Тем более удивительной казалась та беспощадная ярость, с какой она напала на одного из многочисленных клиентов этого самого Лагуна. Свидетель Михаил Львович Новосимецкий — как выясняется сын синагогального старосты — по масштабам этого дела фигура самая мелкая и ничтожная. Он купил у Лагуна всего двадцать монет. Но на процессе вдруг превратился в те "первые руки", в которые, якобы, в конце концов стекалась валюта.

По делу проходили сотни свидетелей, подавляющая часть которых была изобличена не только в скупке, но и в перепродаже золотых монет в несравненно большем количестве, чем этот злополучный Новосимецкий. Но этот сын синагогального старосты вызвал такую бурю возмущения, какой не вызывал ни один из свидетелей.

А когда в бушующем зале прокурор еще заявил, что следствие располагает данными о том, что работающему на лесном складе свидетелю Новосимецкому "один, очень известный и очень уважаемый детский писатель" дал взятку, то зал пришел в такое неистовство, что председательствующему пришлось объявить перерыв.

Сразу же после перерыва государственный обвинитель сделал заявление, что Прокуратура Союза ССР возбудила обвинение против свидетеля Новосимецкого в получении взятки. Правда, на этот раз ни единым словом не был упомянут "очень известный и очень уважаемый детский писатель", и удовлетворенная публика разразилась громкими аплодисментами, хотя по закону его за дачу взятки также надо было

судить. (Мне рассказали, что "очень известный и уважаемый детский писатель" был не кто иной, как Сергей Михалков).

Между обвинением и защитой на этом процессе не было спора ни относительно доказательства совершенных преступлений, ни относительно квалификации. Квалификация была предрешена властями и обсуждению вообще не подлежала. Обвинению не за чем и не с кем было "ломать копья", а защите оставалось только скрупулезно собирать разбросанные по тридцати томам дела крохи смягчающих обстоятельств и на них строить свои довольно хрупкие позиции, рассчитывая лишь на "милосердный" приговор.

На фоне отсутствия этой элементарной для любого процесса состязательности излишними и даже удивительными казались приготовления к предстоящим прениям сторон. И когда в конце концов они начались, зал суда скорее походил на место, где происходит съемка кинофильма, чем на судебный процесс. Трещали камеры, выступающие в прениях ораторы были вынуждены напрягать все силы, чтобы преодолеть сквозь мощные микрофоны стоящий в зале шум и гул. Бесконечные вспышки затрудняли пользование записями.

Эта обстановка сама по себе была малоподходящей для судебных прений. Для адвокатов она усугублялась еще и шумными выкриками в адрес подсудимых, которые непрерывно неслись из зала во время их выступлений. Приглашенные по спецпропускам многочисленные представители московских предприятий заполнили не только зал заседания, они расположились даже в проходах и коридорах судебного здания и молча, затаив дыхание, слушали длинную речь обвинителя. Рассчитавшись с подсудимыми, он взялся за иностранцев, "которых Москва влечет не своими театрами, музеями и другими объектами русской культуры, а жадной нажить на контрабандно ввезенной валюте и стремлением развращать советскую молодежь".

После этого "изящного пассажа" бурные овации сотрясли здание. И совсем по-иному были встречены адвокаты, которым публика устроила настоящую обструкцию. Иногда из зала неслись прямые угрозы. Особенно трудно пришлось защит-

нику Нади Эдлис — Шафиру, который вынужден был покинуть трибуну, даже не окончив защитительной речи.

Мы великолепно понимали, что приговор давно уже предрешен наверху и почти безошибочно могли представить его себе. Оттого, наверное, ни у кого из нас не было тех драматических волнений, которыми обычно охвачен адвокат в ожидании приговора.

Впрочем, я и мой подзащитный составляли тут исключение. Яше Паписмедову на этом судебном спектакле трудно было приписать первую роль. По всему было видно, что и авторы обвинительного заключения не думали ставить в один ряд с Рокотовым его — отца большого семейства, человека малообразованного и совершенно аполитичного, которого к тому же положительно характеризовали и по месту работы. Но вместе с тем, весьма угрожающе звучала сумма оборотов его сделок, на которую он помог Эдлис реализовать золотые монеты в Тбилиси. Эта цифра — два с половиной миллиона рублей — почти вдвое превышала ту, что инкриминировалась Файбишенко. (Для того чтобы пробудить гнев общественности, все суммы назывались в "старых деньгах", действующих до реформы, то есть в десятикратно увеличенном размере).

Яша Паписмедов понимал, что оснований оспаривать обвинение у него нет и что он непременно будет осужден, потому он и решил на себя взять многие эпизоды обвинения своего брата и таким образом открыть путь к его освобождению.

Явно довольный таким оборотом дела, адвокат В. Швейский щедро "подкидывал" нам сделки своего подзащитного, а мы безоговорочно подбирали их.

К концу судебного следствия оборот сделок Паписмедова разбух до таких размеров, что его судьба уже висела на волоске. Шансы получить восемь или пятнадцать лет почти уравнились.

Впрочем, эта жертвенность моего подзащитного ни в малейшей степени не облегчила судьбу его брата, хотя, к счастью, не усугубила и положения его самого. Суд, конечно, признал и записал на его счет все добровольно взятые им эпизоды обвинения брата, но осудил их одинаково. Так что мы оба — и я и В. Швейский — "получили" по восемь лет.

В день оглашения приговора, 15 июня 1961 года, Московский городской суд чем-то походил на осажденную крепость. Усиленная охрана внутри и снаружи с трудом сдерживала натиск представителей общественности, наконец суд вошел в зал, и воцарилась мертвая тишина.

С величайшим напряжением, стоя, в течение нескольких часов, мы слушаем приговор, который в своей описательной части почти без изменения списан с обвинительного заключения. Суд добавляет лишь резолютивную часть: Ян Рокотов, Виталий Файбишенко и Надя Эдлис осуждаются на пятнадцать лет лишения свободы, с отбытием первых пяти лет в закрытой тюрьме. Остальные получают по восемь лет каждый. У всех полностью конфискуется имущество.

На осужденных распространяется Указ от 5 мая 1961 года, в силу которого к ним не может быть применено условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

На этом фильм был закончен, и кинооператоры прекратили работу.

На какое-то мгновение, после того как замолк голос председательствующего, в зале наступила мертвая тишина. Но вдруг с задних рядов послышался выкрик: "Мало!"... И еще: "Неправильно!"... И вслед за этим зал, будто опомнившись и оправившись от услышанного, взорвался целой бурей негодования и угроз.

Присутствующие в зале возмущались мягкостью приговора. Говорили, говорили, и вот на тебе... Всего лишь на пятнадцать лет... А сколько шума было, сколько потратили пороху, и ни один не приговорен к смертной казни. Знали "представители общественности", что совсем недавно к десяти-пятнадцати годам приговаривали ни за что! А тут... таких негодяев оставили жить.

На второй день, 16 июня 1961 года, под заголовком "В Московском городском суде" в "Правде" было напечатано сообщение ТАСС. В сообщении подробно приводились фамилии осужденных, состав суда, формула обвинения и приговор.

В отличие от "представителей трудящихся" совершенно иначе восприняла все это интеллигенция. Не говоря о юрис-

тах, которых приговор буквально ошеломил, в глазах людей мыслящих и понимающих суть этого явления он был подобен снаряду убившему только недавно родившуюся надежду на воцарение правосудия и справедливости.

Друзья и знакомые, которые так и не смогли достать пропусков на процесс, звонят ко мне по вечерам и с опаской спрашивают: "Как это все произошло?" Особенно часто звонили мне находившиеся в те дни в Москве грузинские адвокаты и писатели. Как суд решился осудить людей на пятнадцать лет, когда в момент совершения преступления им грозило наказание в три года? — недоумевали они. Были и наивные, которые искренне удивлялись: "А где были вы, адвокаты?" Приходилось отвечать тем же: "А где были вы, писатели?" Кстати, некоторые из них присутствовали на суде. В первом ряду я, например, часто видела Виктора Розова.

Между тем, специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР, разрешающий следствию и суду применить к Рокотову, Файбишенко и другим обвиняемым по этому делу новый, более суровый закон, так и не был нигде обнародован. Он секретно был вложен в дело и, кроме участников процесса, никому не был известен.

В этих условиях я и мечтать не могла о лучшем приговоре для моего подзащитного. И все же я решила подать кассационную жалобу. Я, конечно, не рассчитывала на какое-то дальнейшее смягчение приговора. Но поскольку дело направлялось в кассационную коллегию, в Верховный суд РСФСР по жалобам других осужденных, то и мне следовало застраховать приговор от возможного ухудшения.

Бывая в эти дни в суде, я становилась свидетелем явлений, подобных которым за долгие годы моей адвокатской практики мне еще не приходилось видеть. Уже на второй день после оглашения приговора в Московский городской суд стали поступать резолюции и письма трудящихся, принятые на общих собраниях и митингах, проходивших в те дни на многих московских предприятиях. Авторы этих посланий единодушно выражали свой гнев и возмущение "мягкосердечностью", которую проявил суд в отношении "отъявленных врагов Родины", они настоятельно требовали "исправить" приговор

осужденным путем замены лишения свободы смертной казнью.

Мы проводили целые дни за изучением протоколов — секретари суда при нас вскрывали пакеты с подобными требованиями, давали нам знакомиться, а потом подшивали их в специальный том, заведенный для "писем трудящихся".

Тогда мы могли только предаваться грустным размышлениям по поводу людской кровожадности. Но мысль о том, что нашим подзащитным может угрожать еще что-то, никому из нас не приходила в голову. Кстати, кровожадности общественности, по-видимому, удивлялись даже работники суда, в том числе и сам председательствующий по делу Громов. Не раз мы замечали, как он заглядывал в том "резолуций рабочих". Он хмурился, и его замкнутое лицо становилось еще более непроницаемым.

Между тем, требования общественности о расстреле подсудимых шли непрерывным потоком в суд. Было невероятным, что на этих митингах и собраниях никто и не подумал разъяснить несведущей толпе всю противозаконность ее требований — что-де не существует закона, разрешающего осудить на смертную казнь за нарушение правил валютных операций, а есть совсем другой закон, и суд, вынесший приговор, не вправе исправлять его.

Никто толком не знал, что происходит за кулисами процесса. Но все причастные к этому делу испытывали какое-то безотчетное волнение. У всех было ощущение, что этот незаконнорожденный приговор знаменует, по существу, рождение новой эры беззакония.

После вынесения приговора осужденных перевели с Лубянки в Лефортовскую тюрьму. Теперь общение с нашими подзащитными уже не столь затруднительно, как это было во время предварительного или судебного следствия. Нам выдали одно общее разрешение, дающее право ежедневно посещать подсудимых в Лефортово для ознакомления их с протоколом судебного следствия и составления кассационных жалоб.

Когда мы в первый раз подъехали к кирпичному зданию Лефортовской тюрьмы, я с трудом сдерживала волнение.

Лефортово — с его мрачными подвалами и лабиринтами и страшными тайнами, о которых его бывшие и случайно уцелевшие узники даже спустя годы не решаются рассказывать близким друзьям, — воскресило во мне со всей остротой одно из самых мрачных событий в жизни нашей семьи. Здесь мой брат Меер провел 1948-1949 годы. Сюда его привезли красивым и полным сил молодым человеком тридцати пяти лет. Отсюда, всего через полтора года, этапом в лагеря отправили его глубоким стариком с совершенно седой головой.

Из четырех "полностью реабилитированных" в нашей семье — отца и трех братьев — живым остался только Меер. После своего освобождения из спецлагеря в 1955 году он все отпуска регулярно проводил у нас в Тбилиси и тем не менее каждый мой приезд в Москву и каждую встречу со мной воспринимал, как чудо, которому не переставал удивляться. Слово и я, и он как бы жили взаимны. И для меня то, что после всего свершившегося Меер остался жив и невредим, тоже было чудом. Я знала, что в этот день он как обычно после работы пришел ко мне в гостиницу и дожидается моего прихода. Тем не менее, когда открылись тяжелые ворота Лефортово, я с трудом вошла в тюремный двор.

Но нет, ничего страшного там мы не увидели. Сразу и очень любезно пригласили нас в следственный корпус на первом этаже. Мы вошли в широкий и довольно длинный коридор, устланный мягкими дорожками. По обе стороны в коридор выходили двери кабинетов. Почти везде эти двери были приоткрыты. В кабинетах стояли мягкие кожаные кресла, полы были устланы красивыми коврами. У стен — шкафы со стеклянными дверцами. Поражало огромное количество книг в дорогих переплетах. Можно было подумать, что вы не в тюрьме, а в какой-то библиотеке научно-исследовательского института! Зачем в Лефортово столько редких научных книг?

Когда привели осужденных, среди них не было ни Рокотова, ни Файбишенко. Адвокат Рокотова Рогов с самого начала не общался с нами. Поэтому мы не знали, когда и где они с Рокотовым составляют кассационную жалобу, и составляют ли ее вообще. А Файбишенко, отказавшись от адвоката, писал жалобу один в своей камере.

Теперь и осужденные совершенно свободно общаются друг с другом, с защитниками, с работниками тюрьмы, со следователями КГБ, которые стараются держаться с ними на дружеской ноге. Подсудимые свободно разгуливают по коридору, переходят из одного кабинета в другой. Некоторые не устают благодарить своих следователей! Атмосфера непринужденная, спокойная и деловая. Никто из них не скрывает радости, что следствие и суд уже позади, иные упорно стараются показать, что выходят отсюда очищенными, получившими "путевку в жизнь".

Возвратившись вечером к себе в номер, я рассказываю Мееру об обстановке в Лефортово, о царящей там дружбе между следователями и заключенными. Он смотрит на меня, прищурив по обыкновению один глаз, и загадочно улыбается. "Нет, ты была не в Лефортово. Ты была где-то в другом месте. У нас в Лефортово не было книг в красивых обложках, не было ковров и мягких кресел и не было никаких друзей".

Знала ведь я, что для Меера Лефортово было каменной могилой без дневного света, в которой он в одиночку провел почти год, отсюда его два раза в густой ночной тьме увозили под Москву, в поле, для инсценировки расстрела; Лефортово для него — это бесконечные страшные карцеры, куда его помещали, по рассказам его сокамерника, известного еврейского поэта Матвея Грубияна, только за то, что он, пытаясь выключиться из невыносимой тюремной действительности, стоя в камере перед стеной, как перед воображаемой доской, мысленно выводил математические формулы.

В его Лефортово было запрещено думать. И описанная мной дружба следователей с осужденными ему явно напоминает дружбу веревки с повешенным.

Мы не могли постичь настроения наших подзащитных. Где крылся источник их убеждения в том, что следователи, как братья, а генералы КГБ, как отцы, спасли их от окончательной гибели, и за эту их удивительную заботу они должны быть всю жизнь признательны им.

В разговорах с нами все осужденные категорически отрицали применение к ним каких-либо физических мер. По их словам, отношение к ним во время предварительного сле-

вия было исключительно вежливым и заботливым. Кто знает — может быть, это было влияние времени, когда еще звучали слова суровых осуждений злодеяний Абакумова и Берии. Газеты в те дни широко пропагандировали отношение братства и любви между следователем и обвиняемым.

Именно в это время наблюдались случаи, когда следователю на каком-то этапе расследования удавалось доводить подсудимого до такого психического состояния, что последний начинал верить, что нет у него на свете более искреннего друга и благодетеля, чем его следователь. В экстазе чистосердечного раскаяния, под диктовку следователя, он собственноручно писал длинные покаяния и делал в них признания в совершенных и несовершенных преступлениях, убежденный, что в этом и есть его единственное спасение. А запоздалое отрезвление на суде не всегда уже помогало.

Поэтому я вовсе не удивилась, когда после окончания нашей работы в Лефортово и подписания кассационной жалобы мой подзащитный попросил меня составить ему благодарственное письмо на имя руководителя следственной группы, генерала Чистякова. В этом письме Паписмедов благодарил генерала за проявленное им душевное отношение к нему, которое помогло ему "по-настоящему разобраться" в совершенном преступлении и дойти до полного раскаяния.

Нам говорили, что в те дни в Лефортово, кроме наших подзащитных, почти не было заключенных. Похоже, что работникам тюрьмы вообще было скучно. Им очень нравилось, что группа адвокатов каждый день приезжала сюда и вносила оживление в их серую и монотонную жизнь. Они так привыкли к нам, что, когда в последний день, расставаясь с нашими подзащитными, мы прощались с ними, они с глубоким сожалением спрашивали: "Как! Вы больше не приедете к нам?"

...Со дня вынесения приговора прошло уже почти две недели, но, несмотря на неоднократные сообщения об этом в газетах, фильм о нашем процессе ни в кино, ни по телевидению не показывали. Пошли разговоры, что Хрущев остался недоволен приговором и поэтому запретил демонстрацию фильма. На фоне окутанного таинственным мраком процес-

са даже это обстоятельство тоже начинало приобретать характер угрожающего симптома.

А вскоре мы узнали, что председателя Московского городского суда Громова сняли с работы.

Между тем, в суд, когда мы сдавали кассационные жалобы, продолжали поступать, словно направляемые чьей-то неведомой рукой, требования о применении к подсудимым смертной казни.

Мои обязанности в суде в первой инстанции были исчерпаны, и я до рассмотрения дела выше могла вернуться обратно в Тбилиси. Я взяла билет на самолет на первое июля на последний вечерний рейс.

Рано утром в день отлета мне позвонили адвокаты Шафир и Швейский и сказали, что заедут в гостиницу проводить меня.

Они пришли в три часа дня. По их лицам было видно, как они встревожены и расстроены. И далее они рассказали мне, что сегодня утром им стало достоверно известно, что, когда Генеральный Прокурор Союза Руденко доложил Хрущеву о результатах процесса, тот рассвирепел и отчитал его, как мальчишку, обвинив и его и председательствующего на суде в провале этого дела. Хрущев сказал, что следовало расстрелять по этому делу по меньшей мере пять человек.

На миг я почувствовала, как у меня сжалось сердце.

Пятым по списку обвинительного заключения и приговора шел мой подзащитный.

Шафир и Швейский рассказали, что, когда Руденко заметил Хрущеву, что суд не мог вынести смертный приговор, так как нет закона, предусматривающего смертную казнь за нарушение правил о валютных операциях, Хрущев накричал на него и сказал: "Не было закона? Сказали бы мне. Напишем и будет закон".

Мы чувствовали, что над нашим делом нависают черные тучи, и в ближайшее время, возможно, произойдет нечто еще более неслыханное, чем противозаконный процесс, участниками которого нам довелось быть.

В этой угрожающей обстановке оспаривать приговор в отношении моего подзащитного (с его особо крупным разме-

ром оборота сделок) казалось явно рискованным. Товарищи решительно уговаривают меня воздержаться от участия во второй инстанции и ждать в Тбилиси их сообщений о дальнейшей судьбе дела.

В самолет я села в тяжелом настроении.

На второй день, утром, второго июля, как только я развернула свежий номер "Известий", мне тотчас же бросился в глаза напечатанный в газете "Указ... "Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил о валютных операциях". Указом вводилась смертная казнь за валютные нарушения. И хотя призрак смерти уже отчетливо витал над нашим делом я, как и многие мои коллеги в Тбилиси и Москве, старалась уверить себя, что все мрачные предчувствия до дикости нелепы и беспочвенны. И закон, изданный в дни, когда дело уже находится в стадии кассационного рассмотрения, направлен, как и следует всякому закону, "лицом в будущее", и никто не посмеет повернуть его вспять, чтобы наложить кровавую лапу на лиц, и без того уже незаконно и жестоко наказанных.

Но события, последовавшие за изданием Указа с головокружительной быстротой, доказали обратное.

Через несколько дней мои коллеги сообщили мне из Москвы, что кассационная инстанция уже рассмотрела дело и приговор в отношении моего подзащитного оставлен в силе без изменения.

Вслед за этим мне сообщили, что Генеральный Прокурор Союза ССР Руденко принес протест в связи с мягкостью приговора Московского городского суда в отношении Рокотова и Файбишенко. Прокурор требовал отмены приговора в отношении этих двух осужденных и направления дела на новое судебное рассмотрение для применения к ним смертной казни на основании нового Указа.

Судебная коллегия по уголовным делам РСФСР удовлетворила этот протест и отменила приговор.

И громоздкое, тридцатипяти томное дело, пройдя за считанные дни несколько этапов судебного рассмотрения (требующего в нормальных условиях нескольких месяцев), уже было

назначено на новое рассмотрение на девятнадцатое июля. Но на этот раз не было шума. Не было спектакля. Не было телевидения.

В Верховном суде РСФСР дело Рокотова и Файбишенко рассматривалось один день.

Суд был быстрый и неправый.

Их приговорили к смертной казни — расстрелу.

Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал.

21 июля 1961 года в "Правде" появилось короткое глухое сообщение о повторном суде над ними в виду мягкости приговора и осуждении их на смертную казнь. На этом умолкли газеты. Умолкли все, и больше их имена не упоминались.

Вот так кончилось это беспрецедентное в истории мирового правосудия дело. Впрочем, кончилось — это не совсем точно. Делом Рокотова началась целая серия таких же неправосудных процессов — в Ленинграде, Риге, Баку, Тбилиси, Фрунзе... Осужденные в Москве теперь проходили свидетелями на других процессах, в других городах.

Судебная статистика в СССР — герметически закрытая область. Тем более окутанными мраком остались дела, подобные рокотовскому. Так что вряд ли кто-то может точно установить общее число осужденных по этим процессам, но достоверно известно, что абсолютное большинство их было евреями. Сама я вскоре по окончании дела Рокотова села в другой процесс — Какашвили, который так же был расстрелян.

Из многочисленных томов дела, которые прошли через меня в те дни, я узнала еще о шестнадцати противозаконных расстрелах, когда к подсудимым так же, как к Рокотову и Файбишенко, была применена обратная сила закона. Это то, что знаю я, а сколько таких судебных расправ и по сей день остались для мира покрытыми тайной.

Что же до подсудимых, то судьба большинства из них мне так же осталась не известной. Разве только слышала я, что абхазец Сергей Попов был выпущен из закрытой тюрьмы через два года и вновь появился на подмостках одного из сухумских баров, а его бывшую жену Надю Эдлис, замучен-

ную и истощенную, в каких-то страшных отрепьях, еще долго возили в качестве свидетельницы по судам, чтобы обличала таких же, как она, "фарцовщиков".

БИБЛИОТЕКА "ВРЕМЯ И МЫ"

1. **КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНАЯ СЕРИЯ** - включает все номера журналов, выпущенных за последний год (с 7 по 20 номер), а так же следующие книги: Борис Хазанов "Запах звезд". Виктор Перельман "Покинутая Россия" (2 книги "Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии (Книга о Войне Судного дня 285 стр., 40 фотографий, изд-во "Карив"). Всего 18 книг. Стоимость при заказе в редакции 298 лир, за границей — 35 долларов, включая доставку. Возможна оплата тремя чеками. Стоимость в магазине — 320 лир.

2. **КНИЖНАЯ СЕРИЯ** - Борис Хазанов "Запах звезд", Виктор Перельман "Покинутая Россия" ("Иллюзии", "Крушение"), Зеев Шиф "Землетрясение в октябре" — приложение к серии, изд-во "Карив", всего 4 книги, стоимость 98 лир. за границей — 15 долларов, включая доставку. Стоимость в магазине — 120 лир.

3. **ИЗБРАННАЯ СЕРИЯ** - включает лучшие произведения, опубликованные за последний год в журнале "Время и мы": Зиновий Зиник "Извещение" (журнал № 8), Борис Хазанов "Страх", "Частная и общественная жизнь начальника станции" (журнал № 9), А. Б. Иошуа "В начале лета — 1975" (№ 10), "Сладкая жизнь Никиты Хряща" (№ 11), Борис Ямпольский "Большая эпоха." (№ 13), Борис Вахтин "Ванька Каин" (№ 14), Олдос Хаксли "Счастливый новый мир" (№№ 16, 17, 18) — всего 9 журналов, стоимостью 150 лир, за границей — 17 долларов. Стоимость в магазине — 170 лир.

Заказы с указанием серии присылать по адресу: ул. Нахмани 62/9 Тель-Авив. К заказу должен быть приложен чек на соответствующую сумму.

В истории евреев Польши келецкий погром занимает особое место. Это было первое и наиболее жестокое массовое избиение евреев, происшедшее всего лишь через год после капитуляции гитлеровской Германии. Погром послужил причиной массового исхода евреев из Польши и окончательно зачеркнул возможность восстановления ранее многочисленной еврейской общины страны. Историография коммунистической Польши обходит это событие нарочитым или стыдливым молчанием. Еврейская и западная историография путается в домыслах либо повторяет ни на чем не основанные суждения о погроме. Вдохновители погрома и механизм этой ужасающей по своим последствиям провокации до сих пор не были выявлены. Через 30 лет автор настоящей статьи сумел собрать ряд сведений и установить факты, которые проливают свет на ЭТОТ загадочный эпизод в послевоенной истории Польши.

Михаил ХЕНЧИНСКИЙ

КЕЛЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ. ЗАГАДКА ОДНОГО ПОГРОМА

Когда евреи, спасавшиеся от уничтожения в СССР и на Западе, стали возвращаться в свои местечки и города, их отнюдь не встречали хлебом-солью. В большинстве случаев они сталкивались с неприязнью и подозрительностью, а иногда — и ненавистью своих бывших соседей.

Польско-еврейский историк Люциан Доброшицкий установил на основании тайных отчетов польской милиции, что в 1945-1946 годах в ста пятнадцати населенных пунктах Польши были отмечены антиеврейские выступления. Среди их жертв были старики, дети, инвалиды войны, беременные женщины. Нападали на евреев в основном организованные группы Народных Сил Збройных*, проявлявшие наиболее крайние формы польского шовинизма. Среди убийц и грабителей было много подонков общества, обыкновенных антисемитов и даже милиционеров и военнослужащих Польской народной армии.

Начиная с середины 1945 года, мотивом антиеврейских выступлений стали все чаще выдвигаемые обвинения в ритуальных убийствах. В истории Польши последнего столетия это

* Название официально принято в советской историографии — прим. переводчика.

было явлением почти неизвестным. Однако после войны положение изменилось, и Келецкий погром в этом смысле очень показателен.

* * *

Из двадцати пяти тысяч евреев, жителей города Кельце, к 1946 году осталось в живых лишь около двухсот пятидесяти человек, составлявших всего полпроцента населения города. Около двухсот из них жили в одном доме, на улице Планты, 7. В этом доме размещались все еврейские учреждения города: Еврейский комитет, еврейская религиозная община, а также организация, занимавшаяся выездом евреев в Израиль — гахшара "Ихуд". Несколько десятков человек, членов гахшары, готовились выехать в Палестину.

В дни праздника Ханука, в 1945 году, в одно из зданий на улице Планты, 7 была брошена граната, которая, к счастью, взорвалась в безлюдном месте, тем не менее это событие не могло не повлиять на взаимоотношения евреев с католиками. Так вот, чтобы предотвратить дальнейшее их обострение, Еврейский комитет добился у местного католического епископа Чеслава Качмарека, чтобы тот принял двух представителей келецкого еврейства, д-ра Северина Кахане и Ехиэля Альперта. По свидетельству Альперта, хранящемуся в архиве института "Яд Вашем", епископ Качмарек так подытожил эту встречу: "Евреи — хорошие врачи, адвокаты, они имеют торговые и ремесленные традиции и должны заниматься тем, что им было предназначено традицией. Вмешательство евреев в польскую политическую жизнь оскорбляет национальные чувства поляков и приводит к таким событиям, которые имели место в праздник Ханука".

Слова епископа относились к тем евреям, которые будучи много лет убежденными коммунистами, активно включались в политическую борьбу, проходившую в те годы в Польше. Некоторые из них, такие как Якуб Берман, Роман Замбовский, Гиляри Минц, занимали высокие государственные посты.

В истории Польши это было явлением совершенно не известным. Оно тяжело воспринималось еще и потому, что все

без исключения коммунисты, и в особенности евреи, представляли в глазах подавляющей части польского общества ненавистную имперскую Россию и чуждый коммунистический строй. Но евреи-коммунисты составляли лишь ничтожный процент в польской еврейской общине, насчитывавшей тогда около трехсот тысяч человек.

Большинство этих людей, вернувшихся из СССР, спаслись от коммунизма и советского антисемитизма, они активно поддерживали новую власть, поскольку она провозглашала равенство всех граждан и гарантировала свободу культурной и политической жизни для всех еврейских партий и групп.

В то же время отцы церкви в Польше считали евреев единым политическим целым, применяя к ним типичные для расистов критерии.

30 июня 1946 года в Польше происходил референдум, имевший огромное политическое значение. Просоветская группировка в правительстве стремилась полностью монополизировать власть в стране и сфальсифицировала результаты референдума. Это вызвало острую критику в западной прессе. Необходимо было отвести внимание аккредитованных в Польше западных журналистов в сторону иного важного события.

3 июля, поздним вечером, в одно из отделений милиции в Кельце явился известный в городе пьяница Валенты Блащик, жена которого была нищенкой. Он сообщил, что его девятилетнего сына Хенрика два дня назад похитили евреи, которые держали мальчика вместе с группой других детей христиан в подвале дома по улице Планты, 7. Хенрику, к счастью, удалось оттуда сбежать, и он все рассказал родителям. Блащик просил, чтобы милиция занялась расследованием этого дела. Из-за позднего времени отцу "похищенного" ребенка было предложено явиться утром следующего дня.

4 июля, в час, когда люди шли на работу, Блащик вместе с сыном отправились не в отделение милиции, а прямо к дому № 7, на улице Планты. Он останавливал по дороге прохожих и рассказывал им свою версию о похищении сына евреями, о том, что многие другие дети христиан спрятаны в подвале,

где им предстоит стать жертвами ритуального убийства. Когда вокруг них собралась группа охваченных истерикой женщин, мальчик показал на проходившего мимо еврея по фамилии Зингер и заявил, будто бы он похитил его два дня назад. Милиция арестовала Зингера, вошла вместе с ним в помещение, где находился Еврейский комитет, и начала поиски "спрятанных" детей. Дом стоял над рекой, поэтому там вовсе не было подвала; разумеется, не было и никаких христианских детей.

Пока милиция обыскивала дом, собравшаяся на улице толпа увеличивалась. Несколько человек ворвались внутрь и выволокли на улицу жестянщика Берла Фридмана; толпа тут же на улице линчевала его. Люди, находившиеся в осажденном здании, поняли, что с минуты на минуту начнется погром. Они забаррикадировались, начали стрелять в воздух. Это несколько умерило пыл нападавших, и они прекратили дальнейшие попытки ворваться в здание. Около одиннадцати часов возле дома появилась военная часть местного гарнизона. Вместо того чтобы разогнать толпу, солдаты сами присоединились к линчевателям и атаковали беззащитных людей. Погромщиков поддержала и присланная команда местной милиции.

Предупредительные выстрелы явно мешали атакующим ворваться внутрь здания через забаррикадированные двери. Тогда два офицера (как выяснилось впоследствии, из гарнизонной контрразведки) потребовали, чтобы их впустили в дом "именем властей". Из сообщений очевидцев стало известно, что эти офицеры отняли у живущих в доме бывших фронтовиков положенное им оружие (в те годы в Польше многим выдавали оружие с целью защиты от грабителей или вооруженных подпольных отрядов).

Израиль Теркельтауб, который находился в это время в комнате председателя Еврейского комитета д-ра Северина Кахане, был свидетелем следующей сцены.

Д-р Кахане пытался вызвать по телефону помощь. Он звонил поочередно в милицию, в Управление госбезопасности, комендантам военного гарнизона польской и советской армии, в партийный комитет и епископу Ч. Качмареку. В ответ

на мольбы Кахане или следовали отговорки, что "мы-де беспомощны что-либо сделать" или вовсе ответа не следовало. Один из офицеров, который вошел в комнату Кахане, начал его утешать, обещая, что помощь вскоре придет, а затем выстрелом в затылок убил его на месте.

Лишь в 16.00 подоспела воинская часть из Варшавы и разогнала охваченную истерией толпу. Было арестовано несколько десятков убийц, но сами солдаты продолжали грабеж. После погрома в доме обнаружили сорок два убитых и свыше семидесяти раненых, среди которых были женщины, дети, старики — люди, чудом уцелевшие в лагерях смерти, а также несколько инвалидов войны.

Разделавшись с обитателями дома номер семь по улице Планты, погромщики двинулись дальше. Они не пощадили и тех, которые в это время находились в поездах или автобусах. Не избежали расправы и несколько семей, проживавших в других местах города. Один из сотрудников милиции сам вывел за город и уничтожил ограбленную им семью вместе с родившимся несколько дней назад ребенком. У женщины на последнем месяце беременности распустили живот и выбросили наружу плод. Общее число убитых и раненых в Кельце и его окрестностях достигло трехсот человек.

Под суд было отдано лишь двенадцать человек; девять — получили смертные приговоры. Отдельные судебные процессы происходили при закрытых дверях. Среди обвиняемых было несколько милиционеров и военных, некоторым были вынесены наиболее мягкие приговоры; все они по амнистии вскоре вышли на волю.

Наутро, после погрома, когда еще не были выяснены его причины и механизм, польское радио провозгласило официальную версию относительно происшедшего. Эта версия была подхвачена всей еврейской прессой в Польше и во всем мире: организатором погрома было польское политическое подполье, которое действовало совместно с церковью и находящейся в официальной оппозиции Польской народной партией (Польске стронництво людове). Это же и по сей день повторяется в еврейской историографии.

В недавно изданном в Польше историческом исследовании "Борьба за укрепление народной власти в Польше в 1944-1947 годах" говорится о какой-то таинственной группе реакционеров, которую будто бы поддерживало реакционное лондонское правительство и церковь. Причем не упоминается ни одна фамилия организаторов погрома. Впрочем, в истории ПНР никогда не сообщалось о том, кто на самом деле организовал этот погром, хотя по его ходу было ясно, что это не стихийная вспышка.

Более того, так и не установили, кто на самом деле похитил мальчика Хенрика, которого действительно не было дома двое суток. Не приводились фамилии лиц, которые во время погрома разоружали евреев. Многие из тех, кто мог свидетельствовать об истинном ходе событий и уличить организаторов погрома, даже не были приглашены на суд.

Тогдашний заместитель премьер-министра и председатель Польской народной партии Станислав Миколайчик потребовал создать специальную следственную комиссию с участием всех организаций, могущих объективно установить, кто был организатором погрома. Предложение Миколайчика не только не было принято, но даже попытка опубликовать в "Газете Людова" — органе Польской народной партии — полного и правдивого отчета о ходе погрома была пресечена цензором. Член тогдашнего парламента, так называемый Крайовой рады народной, от партии Бунд д-р Шульденфрай также потребовал дополнительную информацию о погроме и его вдохновителях. Интерпелляция Шульденфрая не получила ответа.

От какой-либо связи с этой акцией публично отмежевались келецкая организация Польской народной партии, келецкая епископская курия, а также руководство польской эмиграции в Лондоне.

Характерно, что никто не подвергал сомнению факт тщательной организации погрома. На процессе главных убийц, состоявшемся через несколько дней после погрома, общественный обвинитель заявил, что "... против виновников провацки ведется следствие, детали которого не могут быть в данный момент раскрыты, однако вскоре придет

время, и они будут опубликованы..." Такое время никогда не наступило.

Никогда, в частности, не было обнародовано, кто, куда и зачем уводил маленького Хенрика. В первоначальном сообщении газеты упоминали о некоем Антоне Пасовском, который был виновен в похищении ребенка. Позже это имя никогда не упоминалось. Мальчик на следствии сказал, что его похитил знакомый его отца Тадеуш Бартошинский, у которого в деревне Беляки был вишневый сад.

На суде Бартошинский отрицал, будто он увел ребенка, и утверждал, что мальчик к нему приехал сам. Деревня находилась в двадцати восьми километрах от Кельце, а мальчик ночевал будто бы у другого крестьянина по фамилии Пацек, тем не менее суд даже не попытался выяснить, каким образом мальчик сумел добраться до деревни, и не вызвал Пацека для дачи показаний. Руководитель келецкого следственного отдела госбезопасности утверждал, что его отдел напал на след загадки исчезновения Хенрика и появления его в деревне Беляки. Однако разгадка так и не стала достоянием гласности. Не вызывал суд в качестве свидетельницы мать ребенка, которую ранее усиленно допрашивали следователи воеводского управления госбезопасности.

Во время следствия было определено установлено, что мальчика вывезли двое мужчин. Их фамилии не были раскрыты.

Отметим еще одну важную деталь: показания В. Блащика, данные им на суде, были опубликованы только в оппозиционной "Газете Людова". Все проправительственные газеты обошли их молчанием, как и умолчали о роли Блащика во всем этом деле.

Мне удалось отыскать двух бывших сотрудников службы безопасности тех лет, которые были полностью в курсе событий. Вот что следует из их показаний.

Адам Корнецкий* до погрома был длительное время шефом воеводского Управления госбезопасности в Кельце. После погрома министр госбезопасности назначил его членом

* Запись беседы автора с А. Корнецким, состоявшейся в Германии в 1974 году.

комиссии по расследованию причин погрома и выявлению его организаторов. Рапорт, который он представил министру ему удалось вывезти из Польши.

Из этого документа следует, что службе госбезопасности не удалось найти ни одного доказательства в подтверждение того, что погром организовали польское политическое подполье, церковь либо оппозиционная Польская народная партия. В то же время было установлено, что отец похищенного ребенка Блащик был агентом службы безопасности под кличкой "Пшелет" — "Перелет".

Закоренелый пьяница Валенты Блащик и после погрома часто звонил в Управление госбезопасности и требовал денег на водку. В 1961 году Корнецкий был в Кельце на съезде партизан и узнал, что Блащик-"Перелет" работает в муниципалитете швейцаром. В Польше это весьма прибыльная должность, дающая немалые доходы в виде чаевых.

В разговоре с Корнецким Блащик утверждал, что он сам придумал эту историю о похищении мальчика еврейми. Он, будто бы, сделал это потому, что боялся, как бы евреи не отняли у него квартиру, которую он занял после побега какой-то еврейской семьи. Таков был главный аргумент "Перелета".

Интересно, что этим же аргументом воспользовался наместник Берии в Польше С. Давидов. По сообщению А. Корнецкого на специальном заседании сотрудников высших инстанций службы госбезопасности, которое состоялось через несколько дней после погрома, кто-то потребовал наказать за пренебрежение служебными обязанностями арестованного к тому времени шефа воеводского управления госбезопасности майора Владислава Собчиньского. Все, что сделал, а также не сделал Собчиньский (который был ответственным за бездеятельность властей во время погрома в Кельце), следует рассматривать в связи с его особыми отношениями с НКВД.

Давидов лучше всех знал и об этих отношениях и о той роли, которую сыграл в келецких событиях Собчиньский. Поэтому он и требовал, чтобы Собчиньского немедленно освободили из-под ареста, утверждая, что тот не виноват: виноваты сами евреи, которые начали требовать возвращения своего

имущества, разграбленного во время немецкой оккупации их бывшими соседями.

Для того чтобы лучше понять, какую роль играл Собчиньский, следует сделать следующее пояснение. Когда советская армия заняла территории, принадлежащие ныне государствам-сателлитам СССР, СМЕРШ и НКВД создали там собственную сеть агентов, которые внедрялись во все звенья власти и во все области общественной жизни. Эти агенты действовали и продолжают действовать сегодня также и в партии, в органах госбезопасности, в общественных организациях, экономике и т.д. В официальной биографии Собчиньского, помещенной в альбоме партизан Армии народной, изданном в Польше в 1963 году (под названием "Валка" ("Борьба")), приводятся два псевдонима, которыми он пользовался, будучи работником окружного штаба 3-й Армии народной. Однако там совершенно не упоминается о том, что его настоящее имя — Спыхай, что он и его брат, умерший в СССР, были агентами НКВД/СМЕРШа, что сам Собчиньский еще в 1940 году кончил Александровскую школу НКВД и, став агентом этой организации, был сброшен на парашюте в 1942 году в Польше. О том, сколь высокое покровительство оказывали ему его московские опекуны и о его верности им, свидетельствует его дальнейшая судьба.

Собчиньского арестовали по распоряжению специальной партийной комиссии правительства, которая расследовала обстоятельства погрома. Вместе с Собчиньским был арестован за пренебрежение служебными обязанностями и майор Гвяздович, который был заместителем коменданта милиции города Кельце, а также поручик Загурский, бывший начальником того отделения милиции, куда пришел Валенты Блащик с сообщением о похищении сына.

После вмешательства Давидова все трое были освобождены, но лишь Собчиньский оставался на ответственном посту в органах госбезопасности, а впоследствии в армии. И так на протяжении многих лет, пока не ушел в отставку по возрасту. Этот человек никогда не говорил ни с кем о келецком погроме, хотя и не скрывал своего зоологического антисемитизма.

Когда в 1968 году в Польше происходили расистские гонения на евреев, Собчиньский, бывший тогда секретарем партийной организации пенсионеров в варшавском районе Мокотув, требовал издать распоряжение, предписывающее евреям носить желтые жилеты, чтобы их было видно изда-лека.

Гвяздович, которого уволили из милиции, впоследствии часто вспоминал в кругу приятелей о непонятном для него ходе келецкого погрома. В 1959 году он поехал в отпуск в Болгарию, где в то время полковник Собчиньский был военным атташе польского посольства. Возможно, это была лишь случайность, но Гвяздович не вернулся из отпуска: он утонул в море при невыясненных обстоятельствах.

Таинственным образом исчезли и другие свидетели келецкого погрома: поручик Альберт Гринбаум и Хенрик Ошен, а также уже упомянутый Антон Пасовский, которого в пресе называли похитителем мальчика; об этих исчезновениях упоминается в польских источниках.

Несколько дней спустя после погрома в пресе появилась информация о том, что во время погрома были убиты два работника службы госбезопасности — поляки, которые погубили, защищая преследуемых евреев. Их имена были обойдены молчанием, хотя вскрытие установило, что в самом деле было убито двое неевреев. Одним из них был Пасовский, как утверждает свидетель, с которым мне пришлось беседовать. Отметим при этом, что от руки евреев не погиб и даже не был ранен ни один человек.

В отчетах правительственной печати о похоронах жертв погрома никогда больше не упоминалось о том, что во время погрома убито два нееврея, ни тем более о том, что убитые были работниками госбезопасности. Никогда не было обнаружено, кем был этот Пасовский и какова его роль в кровавой провокации.

Загадочны обстоятельства смерти двух других свидетелей: шефа повятового отдела госбезопасности в городе Кельце поручика Альберта Гринбаума (Файвиша Альтера) и его друга, одного из функционеров городского комитета партии в Кельце, Хенрика Ошена. Они подружились еще в период

испанской войны, в которой оба принимали участие, и были убежденными коммунистами. Они неизменно стремились к тому, чтобы правящая в Польше коммунистическая партия производила хорошее впечатление на мировую общественность.

Поручик Гринбаум, будучи шефом повятового отделения госбезопасности, имел среди местных деятелей подполья собственную агентуру. Благодаря этому, а также его личным служебным связям в воеводском управлении госбезопасности, он был хорошо осведомлен о закулисной стороне погрома. Во всяком случае он-то знал, что погром не был организован подпольем и что в убийстве евреев принимали участие офицеры Народного Войска польского и службы госбезопасности. Гринбаум наверняка знал их имена и знал многое о роли агента службы госбезопасности Валенты Блащика-"Перелета".

Когда несколько дней спустя после погрома в Кельце появились группы иностранных корреспондентов, которые хотели встретиться с уцелевшими евреями в Кельце, Гринбаум сновал между этими охваченными ужасом людьми и — к а к е в р е й — уговаривал их не "очернять" офицеров Польской народной армии и милиционеров в глазах Запада. Он внушал этим уцелевшим свидетелям, что настоящими организаторами погрома были люди подполья и церковь, а эти, узванные евреями офицеры и милиционеры,— всего лишь случайно вовлеченные в преступление люди. И напуганные свидетели-евреи, по крайней мере какая-то их часть, рассказывали журналистам то, о чем просил поручик Гринбаум.

Во второй половине августа поручику Гринбауму и его коллеге Ошену было предписано явиться в Варшаву, чтобы вступить в новую должность для работы за рубежом Польши.

С момента отъезда из Кельце их следы исчезают.

В те годы случалось, что офицеры службы безопасности или партийные функционеры погибали от рук вооруженных отрядов подполья. Но тогда политические противники режима старались, чтобы весть об этом доходила до сведения широкой общественности: тем самым делались попытки терро-

ризировать население, чтобы оно не сотрудничало с коммунистическими властями.

Через несколько дней после исчезновения Гринбаума и Ошена специальная делегация под давлением их родных и близких отправилась в Варшаву к министру госбезопасности Радкевичу. Делегация требовала, чтобы министр назначил комиссию по расследованию обстоятельств исчезновения двух сотрудников.

Эта просьба была отклонена под предлогом нехватки людей. Более того, в книге, изданной через двадцать лет в Варшаве, под заглавием "1944-1947 годы в борьбе за укрепление народной власти в Польше", составленной на основе архивов Министерства внутренних дел, в качестве приложения имелся список имен деятелей партии и службы госбезопасности, которые погибли от руки подполья. Гринбаума и Ошена среди них нет.

Уже упоминалось о роли полковника Давидова, заместника Берии в Польше, в деле освобождения майора Собчиньского, шефа воеводского управления госбезопасности в Кельце. Как я уже выше писал, ответственность Собчиньского необходимо рассматривать в связи с его отношениями с советскими советниками службы безопасности в Кельце с одной стороны и с другой — с центральными органами партии и Министерства госбезопасности.

В дни погрома шефом советских советников службы госбезопасности в Кельце был майор Шпилевой. Он живо интересовался ходом следствия по делу о погроме с первого дня. Однако непосредственно следствием занимался майор Демин, личность необычная в кругу советских офицеров госбезопасности, которые в ту пору находились в Польше. Все они, от советника Министерства госбезопасности генерала Лялина и до заместителя начальника военной информационной службы (эквивалент СМЕРШа) полковника Владимира Вознесенского, да и сотен других советских офицеров службы госбезопасности, были люди примитивные. Ни один из них не знал иностранных языков. Между тем, Демин, служивший в провинциальном городе, каким был Кельце, прекрасно вла-

дел французским и немецким языками, вел себя, как джентльмен, хорошо танцевал и вообще неизменно демонстрировал "светскость", на что сразу обратили внимание его польские коллеги.

Личность Демина и его особый интерес к следствию по делу о погроме хорошо запомнила руководительница секретариата воеводского управления госбезопасности в Кельце, ныне живущая в Израиле Левкович-Айзенман.

В шестидесятые годы она прочитала в одной из израильских газет упоминание о том, что среди персонала советского торгпредства в Тель-Авиве есть человек по имени Михаил Демин. Это до такой степени ее заинтересовало, что она решила непременно его увидеть и проверить, тот ли это человек, которого она знала в Кельце. Через некоторое время она убедилась, что это был тот самый Демин.

Чем занимался длительное время в Тель-Авиве Михаил Демин, бывший советником службы госбезопасности в Кельце во время еврейского погрома?

Трудно дать на этот вопрос вполне компетентный ответ.

Следует вспомнить, однако, о существовании определенной закономерности в кадровой политике КГБ. Демин мог находиться в 1946 году в Кельце в качестве специалиста по польским делам, в Тель-Авив же он приехал как работник еврейского отдела. Можно сделать и другое предположение: Демин был специалистом по еврейским делам уже в 1946 году и в этом качестве приехал в Кельце, небольшой воеводский город в Польше. Отметим, что он покинул Кельце через две недели после погрома. Чтобы получить ответ о роли Демина в келецкой провокации, придется подождать, пока не станут доступны архивы КГБ*.

И последнее. Читатель может упрекнуть меня в том, что я слишком заостряю факты в определенном направлении, что у Советского Союза не было далеко идущих целей в келецком преступлении. Но так ли это? Попробуем осветить политический фон и последствия погрома.

* Интересно, что в книге Дж. Баррона "КГБ" на стр. 385 упоминается некто Демин Михаил Александрович, работник Главразведупра, который в 1964-1967 годах пребывал в Израиле, а в 1969 году оказался в Германии.

В 1946 году СССР проводил широкую кампанию по ослаблению влияния Великобритании в мире. Ближний Восток имел тогда ключевое значение в системе Британской империи. Арабское народно-освободительное движение было в то время слишком слабым, чтобы эффективно действовать против Великобритании, а евреи пользовались симпатией всего западного мира, который находился под впечатлением трагедии, постигшей европейское еврейство. Россия, поддерживая эмиграцию евреев из Польши, укрепляла их борьбу за создание национального очага в Палестине и тем самым убивала одним ударом нескольких зайцев: завоевывала симпатии громадной части прогрессивных кругов Запада; поддерживала народно-освободительную войну против Англии на Ближнем Востоке и одновременно углубляла конфликт между арабами и евреями (который с успехом использовала в последующие годы); превращала коммунистическую Польшу в однопартийное государство, что должно было в значительной мере облегчить укрепление там новой власти.

Если к этому добавить, что келецкий погром был использован еще и для того, чтобы скомпрометировать антисоветское подполье в Польше и церковь в глазах Запада и подчеркнуть, что польский народ заражен антисемитизмом и без советской оккупации остаткам уцелевших евреев грозит вторая катастрофа — то становится очевидным, что у НКВД в то время было достаточно причин для организации подобной провокации. Этот тезис можно дополнить еще одним, достойным внимания инцидентом.

В 1949 году в Праге был арестован Ноэль Фильд, дело которого послужило для фабрикации двух самых крупных политических процессов в Восточной Европе в послевоенные годы: процесса Райка в Венгрии и процесса Сланского в Чехословакии. Однако мало кому было известно, что третий большой процесс, имевший тоже антисемитскую подоплеку, готовился в те годы в Польше.

Все, кто знали Ноэля Фильда, бывшего советским шпионом, были также арестованы, их грубо допрашивали польские и советские следователи. Одна из них — Тоня Лехтман — живет сейчас в Израиле. Она была знакома с Фильдом в Швейца-

рии, где они вместе занимались филантропической деятельностью в пользу беженцев, в том числе и беженцев из Чехословакии. Одним из них был Павлик, чешский еврей, коммунист, который явился первым звеном в длинной цепи арестованных по делу Райка и Сланского.

Тоня Лехтман знала Павлика, который часто приезжал в первые годы после войны в Польшу, так как был директором чехословацкого бюро путешествий "Чедок". После того как десятый отдел польского Министерства госбезопасности арестовал Лехтман, ее допрашивал польский следователь, обвинявший Тонию в троцкизме.

Однажды в камере появились два следователя из Чехословакии, чтобы задать ей несколько весьма странных вопросов. Вот свидетельство самой Лехтман: "...Чехи подготовили конкретные вопросы, и все они касались еврейских дел. Был ли Павлик сионистом или евреем, осознающим свою национальность, разговаривали ли мы на еврейские темы, рассказывал ли он мне или спрашивал что-либо о погроме в Кельце. (Они это называли иначе: события в Кельце). Я была захвачена врасплох, ибо дело о погроме до сих пор на допросах вообще не всплывало. А чехи акцентировали внимание именно на этой теме... Я не понимала, что мог иметь общего Павлик с погромом в Кельце, и этот вопрос меня очень удивил..."

Не трудно понять, что сама чехословацкая служба госбезопасности не имела никакой компетентной информации о келецком погроме, сомнительно, чтобы в 1951 году там вообще вспоминали об этом событии. Только в Варшаве и в Москве хранилось досье келецкого дела. И прежде всего оно находилось в еврейском отделе МГБ. По-видимому, в этом отделе фабриковали и дело Сланского, а также его польский вариант — дело Фильда. И в Польше все арестованные по делу Фильда были исключительно евреями. Трудно сказать, каким образом собирались в Москве связать келецкий погром с "чешским погромом", но такое намерение несомненно существовало. Видимо, в Москве весьма ценили эту, до сих пор таинственную резню польских евреев.

Авторизованный перевод с польского Е. Вайсберг.

ПИР АВАНГАРДИЗМА

Выставка "Документа-6" в Касселе — смесь праздника и бунта. В течение ста дней западногерманский город живет выставкой и доходами от нее. Сотни тысяч туристов приезжают в Кассель, чтобы присутствовать на грандиозном спектакле и пире современного авангардизма. Выставка столь велика, что нужна добрая неделя, чтобы ее осмотреть, но она не статична: идет ретроспектива модернистского кино, сменяют друг друга экспонаты и действия, Свободный Университет устраивает конференции и лекции, связанные с "Документой" как бы острым ощущением современности. И так на "Документе" можно остаться и на все сто дней, жить в атмосфере дискуссий, странных конструкций и видеоустановок, попивать дивное немецкое пиво и стараться понять, что же все это значит.

Почему "Документа"? Потому что выставка задумана как живое свидетельство времени, как раскрытая в пространстве книга, документ о современном искусстве. Выставка устраивается раз в четыре года, всегда в Касселе. Это уже шестая...

Ее устроители довольно четко формулируют основные направления художественного поиска середины 70-х годов: тенденция к изучению и размышления о свойствах и возможностях материалов, используемых художниками, попытки осмыслить и художественно выразить основные категории пространства и времени.

В живописи здесь царят, пожалуй, два направления — пуризм абстрактных монохромных картин и "геометризм" или "математизм". Первое направление целиком поглощено изучением цвета. Картины этих художников — цветные пятна тонких оттенков, оправленные в рамы.

Второе направление характеризуется бесконечными повторами геометрических элементов или чисел. Это болезненная реакция на мир чертежей и цифр.

Польский художник Роман Опалка, начиная с 1965 года, пишет на одинаковых, 196 X 135 см, полотнах числа от единицы до бесконечности. Сейчас он дошел до 2194426. Он работает каждый день, одновременно наговаривая эти цифры на магнитофон. В конце каждого рабочего дня он фотографирует себя, фиксируя ежедневные изменения своего лица. Таким способом он символизирует непрерывное течение времени и изменение человека в нем.

Но самые интересные работы "Документы-6" не принадлежат к этим двум направлениям.

Француз Луи Кан, представил гигантское полотно "Святой Дамиан говорит со святым Франциском Ассизским". Он взял за основу знаменитую картину Джотто и убрал из нее все, кроме абстрагированного соотношения геометрических форм и цветов, выявляя тем самым секрет впечатления от работ великого мастера.

Особняком расположен на выставке триптих крупнейшего английского художника Фрэнсиса Бэкона. В левой части триптиха человек, лицо которого изображено, как "портрет на картине", а туловище скрючено; рассматривает сам себя в зеркало, то есть как бы исследует зеркалом свою душу. На центральной картине в эту душу, или вернее, комок человеческой плоти, впивается коршун, причем этот акт совершается на фоне книги, символизирующей культуру. В правой части мы видим тот же портрет с выеденным куском лица, а комок плоти лежит перед ним на разорванных страницах в луже крови.

В разделе "Пластика" почти отсутствует традиционная скульптура. Назначение экспонатов — вступить в сложные пространственные отношения с городским или сельским ландшафтом.

В 1976 году один из ведущих мастеров этого жанра болгарин Кристо (живущий в Америке) создал "Бегущий забор" — изгородь из плотного нейлона, закрепленного на металлических палках, которая тянулась на протяжении 39 км вдоль берега Тихого океана в районе Сан-Франциско. Изгородь высотой в шесть метров захватила территории 48 ферм, 4 городков и кусок самого океана. Несмотря на гигантские размеры это сооружение, благодаря мастерству Кристо, органически вписалось в ландшафт. С самолета изгородь казалась гигантской белой змеей, обвившей кусок суши, а вблизи ткань, надуваемая прибрежным ветром, создавала третье измерение плоской равнине, символизируя союз природы и искусства. Между прочим, в Касселе демонстрировался фильм о создании "Бегущего забора".

А вот работа признанного израильского мастера Дани Каравана. На огромном лугу старинного герцогского парка выставлен макет монумента, сооруженного им для Негева. Монумент находится у начала водопровода и представляет собой гигантскую лестницу длиной семьдесят и высотой шесть метров. Лестница составлена из отдельных полых блоков различной высоты с щелями между ними. Если войти внутрь в солнечный день, то возникает ощущение, что находишься внутри гигантского органа.

Представленное на выставке новое направление в пластике — "художественная археология" — пытается сочетать данные археологии и этнографии с социальными предвидениями, обычно с ощущением надвигающейся на современный мир катастрофы. В большом затемненном зале — макет Анн и Патрика Пуарье — остров с башнями, амфитеатром и святилищами, наполовину разрушенными и сметенными наводнением.

Необычен поиск американца Чарльза Симондса. На выставке были показаны как его работы, так и фильм о создании этих работ. (Вообще фильмы о создании произведений искусства, точно фиксирующие художественный процесс, занимают важное место на "Документе". Художники пытаются осознать и запечатлеть сам процесс творчества, не менее важный, чем конечный результат).

...Уже в течение нескольких лет Симондс бродит по нью-йоркским трущобам, выбирая очередной угол какого-либо полуразрушенного дома. Найдя его, он вынимает из сумки инструмент и начинает работу. Из миниатюрных кирпичиков он выкладывает пинцетом причудливые здания, храмы и крепости цивилизации "маленьких человечков". Все его произведения обречены на уничтожение, ибо здания предназначены на слом. В фильме мы видим, как бульдозеры с ревом сносят дома, в углах которых уютятся таинственные города. Но художник с маниакальной настойчивостью переходит от одного дома к другому и продолжает свой труд. Вокруг него всегда собирается толпа любопытных негритянских и пуэрториканских детей, принимающих молодого бородача за сумасшедшего и весело обсуждающих его действия. Однако эти действия носят отчетливый ритуальный и даже космологический характер. Художник вновь и вновь воссоздает сотворенную им цивилизацию "маленьких человечков", отчаянно сопротивляющихся действию разрушительных внешних сил.

Особый вид современного пластического искусства — это "действия", или "представления", когда сам художник вступает в пластические отношения с неодушевленными объектами, решая чисто художественные, а иногда и философские задачи.

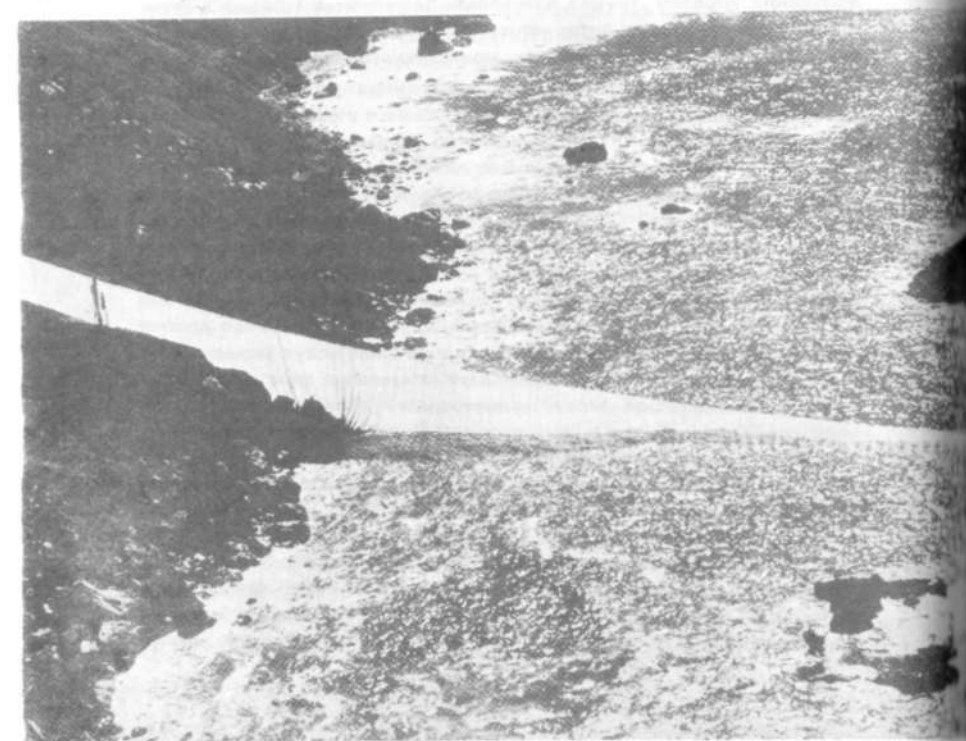
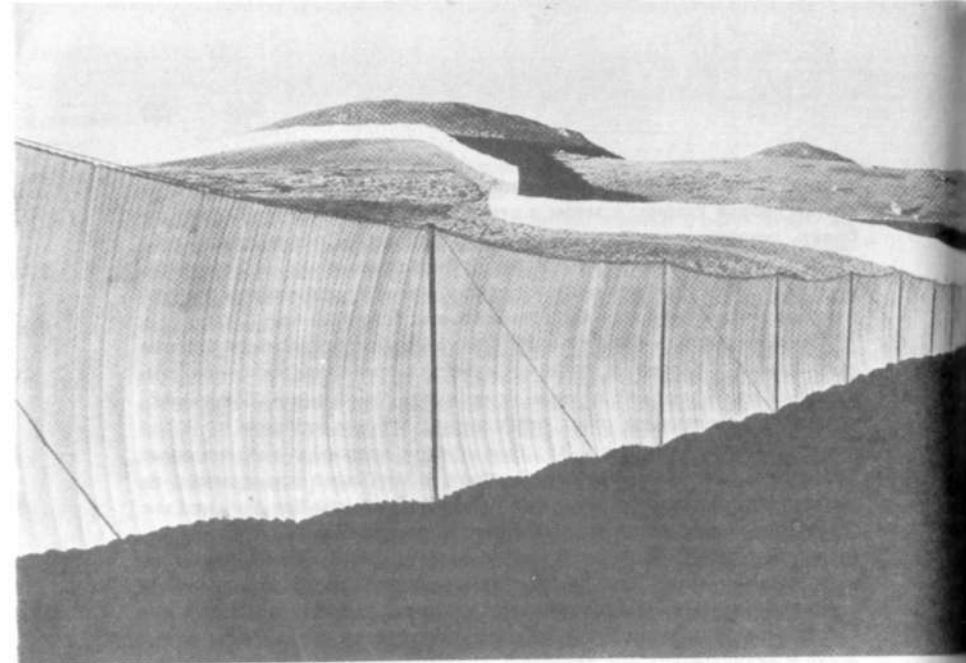
Немецкий художник Гельмут Шобер, живущий в Милане, "представил себя" в виде нескольких экспонатов. Его основная идея — изобразить отношения между человеческим телом, поставленным в мучительно, физически напряженное состояние, и эмоционально безразличным, холодным (стекло), или даже агрессивным, опасным (металлическое лезвие) объектом. В диалектическом поединке между душой и материей человек ценой больших усилий побеждает.

В одном из действий Шобер, одетый в белый комбинезон, стоит на коленях, низко опустив голову, внутри стеклянного футляра, открытого спереди. К его шее привязан на длинной нитке маленький металлический шарик. Художник ритмически качает головой, и шарик с крайне неприятным звоном ударяет о боковые стенки стеклянного

ящика. После примерно семи минут однообразных движений разбивается первая стенка, а затем и вторая. Но художник продолжает добывать остатки стенок. Представление кончается, когда стенки полностью разбиты. В другом действе Шобер, стоящий на четвереньках, держит в зубах большое металлическое лезвие и прочерчивает им ровную окружность вокруг себя, процарапывая бетонный пол.

Исходя в вдоль и поперек всю "Документу", я отправилась в конце пребывания в Касселе в местный музей классической живописи, знаменитый своей лучшей в мире коллекцией Рембрандта. Семнадцать портретов, семнадцать лиц, освещенных словно идущим из души светом, смотрели на меня. Это был сгусток простой и одновременно бесконечно богатой человеческой жизни. И мне стало как-то жаль, что сегодня уже нельзя писать ни как Рембрандт, ни как Ван Гог, что так стремительно меняется мир, меняются технологии и стиль жизни, меняется отношение к Богу, сексу, смерти. Мы, еще выросшие на мировом искусстве, для большинства хронологически завершенном импрессионистами, наталкиваемся на естественное сопротивление современному авангардизму. И даже, когда постигаешь умом сложность и актуальность поставленных художниками артистических и философских проблем, трудно преодолеть "эстетический барьер", отделяющий вас от многих экспонатов "Документы-6". И в то же время понимаешь, что, лишь одолев его, можно понять современное искусство.

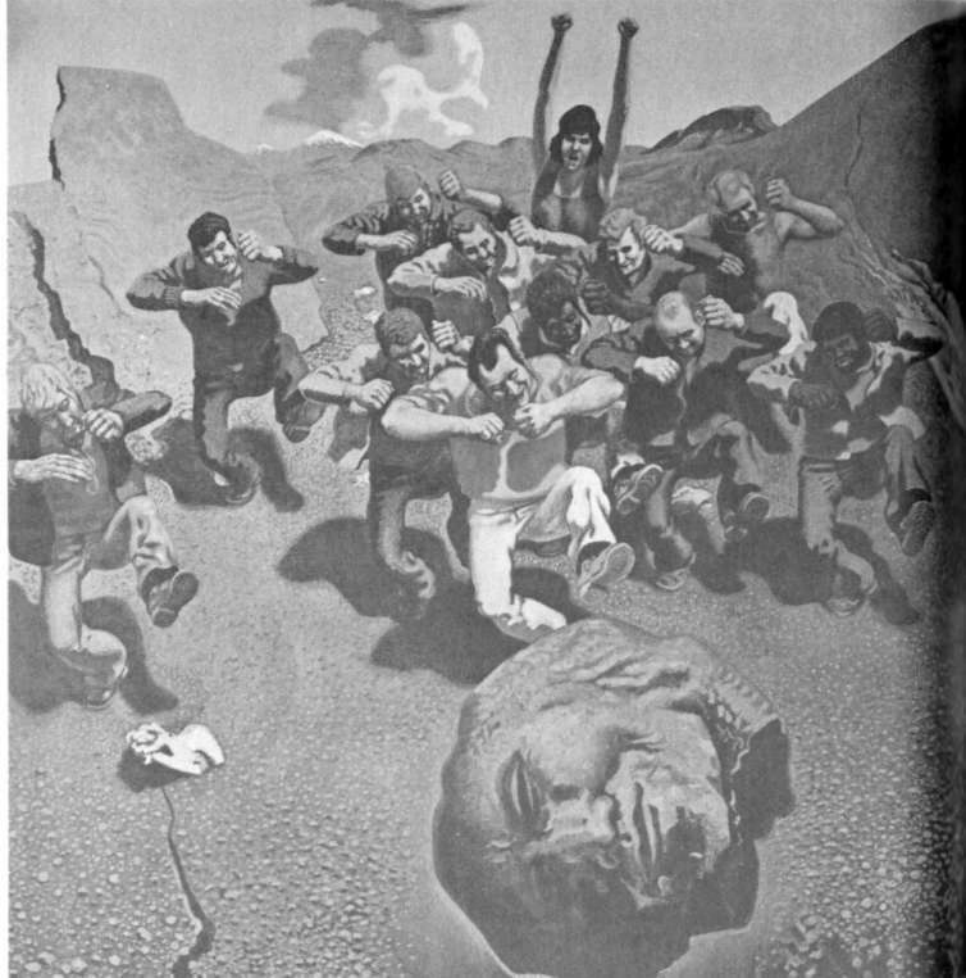
Галина КЕЛЛЕРМАН



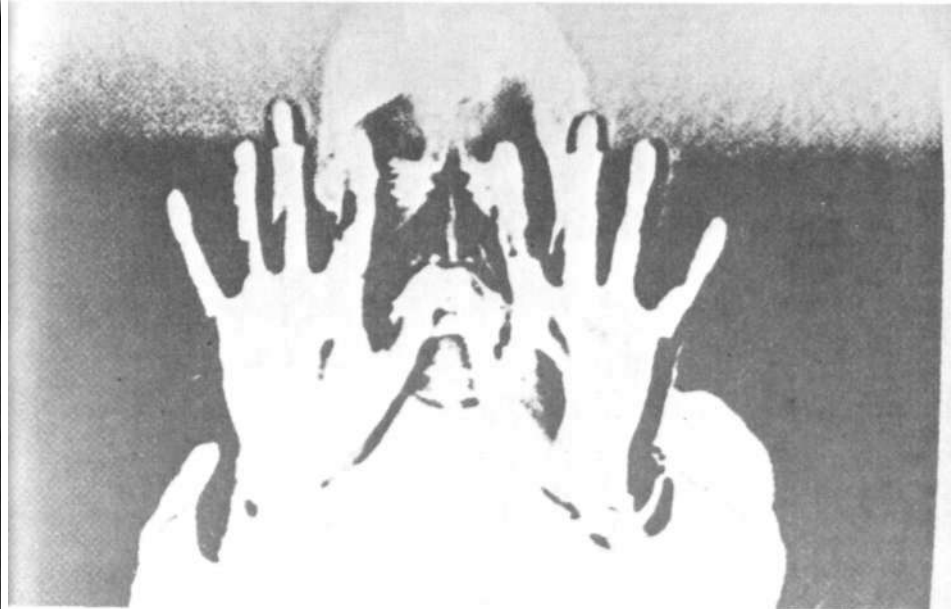
Кристо. Бегущий забор



Д. Ястрам. Борцы



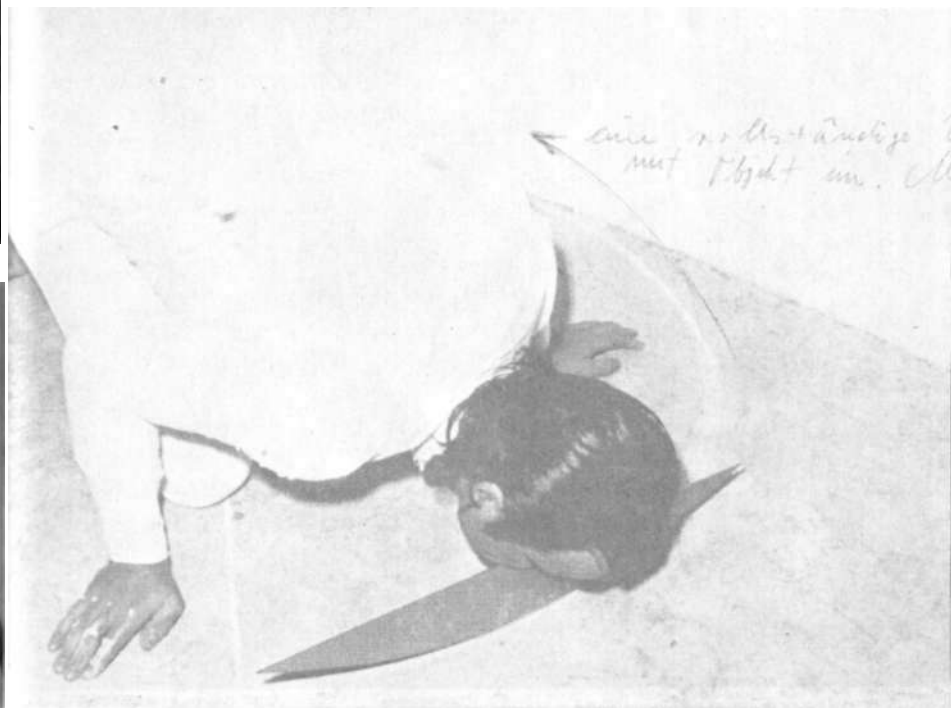
В. Маттхюэр. Заносчивый Сизиф (масло холст)



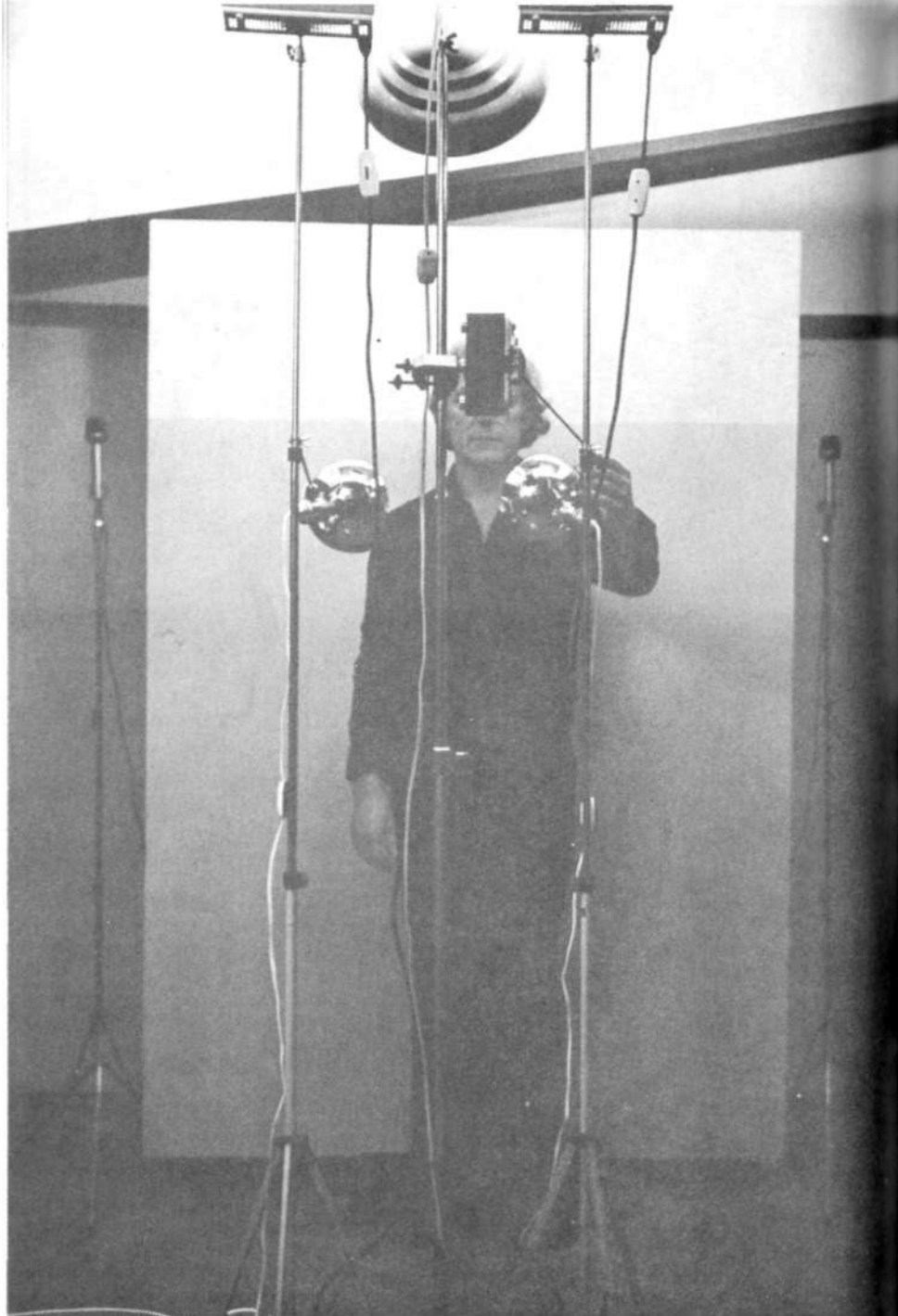
Д. Беус. Я — здесь (Телевизображение)



Ф. Бэкон. Триптих



Г. Шобер. Круг



Р. Опалка фотографирует себя в конце рабочего дня



Д. Ларсон и Т. Раккей.

"Действа"

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ИЗРАИЛЕ СВОБОДА СОВЕСТИ?

*ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ АРХИЕПИСКОПА
ИОАННА САН-ФРАНЦИССКОГО*

В своем № 9, от 1975 года, журнал "Менора", выходящий в Иерусалиме, опубликовал полный текст постановления общегосударственного Верховного Суда в Израиле, — определение и обоснование невозможности признать о. Даниила Руфейзена полноправным евреем.

Текст этого документа существен для меня, как ценное документальное дополнение к моему дружественному диалогу с незабвенным Ю.Л. Марголиным, в "Новом Русском Слове" в шестидесятые годы.

В этом диалоге я утверждал, что Израиль не имеет еще полного основания называться правовым, т.е. демократическим, свободным государством до тех пор, пока в нем еще существует религиозная дискриминация в отношении своих граждан-евреев.

Конечно, живущий в Израиле человек может принадлежать к какой он хочет религии; но, если он еврей, он автоматически включается в ортодоксальную* официальную государственную религию Израиля. Удивительно, что да-

же атеизм и активное безбожие не мешают еврею считаться полным гражданином своей страны и частью своего народа, а христианская вера лишает еврея права остаться полноправным евреем в Израиле. Не предельная ли это диффамация? Ею, *eo ipso*, исключаются из израильского государства наших дней апостолы Христовы и Сам Христос. Государство "Левиафан", по Гоббсу, запрещает Христу быть еврейским Мессией. Может ли, в наши дни, государство претендовать на такую тоталитарную власть над душами своих граждан? Даже в СССР, где государство открыто атеистично, законы его не имеют такой власти над душами и говорят о свободе религиозных убеждений для всех (оставляю вопрос о лицемерии такого Закона). Израиль не достиг даже этого.

Пусть на меня, за мои вопрошания, не обижаются в Израиле. Вопрошания мои идут из лучших чувств и к Израилю. Пусть снова поднимут этот вопрос и общественно обсудят его. Я первый буду рад, если мое горестное размышление будет и словом и жизнью опровергнуто. Я хочу видеть в Израиле иное и думать иначе о его государстве, чем сейчас думаю. В наш век всеобщего лицемерия народов надо, хоть в одиночку, людям пытаться находить выход к полной свободе и человечности, не только в личном сознании своем, но и в жизни своих государств.

С совершенной ясностью об этом говорит и самый акт Верховного Суда в Иерусалиме. Журнал "Менора", публикуя этот ценный документ, забыл добавить, что с данным постановлением Верховного Суда не согласился один из его судей верховных, отстаивавший точку зрения равноправия пред Судом, и правом на еврейство всех родившихся от матери-еврейки, независимо от их религии. Иной не может быть, конечно, правовая позиция демократического государства в наш век. Все иные позиции — виды тоталитаризма и насилия над душой.

В отношении всякого народа (и Израиля, прежде всего) есть один только библейский критерий:

- 1) народ слушается Бога.
- 2) народ не слушается Бога.

* Там нет никаких других синагог (как в Америке).

Когда народ слушается Бога и когда он не слушается, мы имеем ясное указание в Книгах Моисеевых и библейских пророков.

Пророческие книги Библии, это явление голоса Божьего, в отношении древнего Израиля, показательного для всех народов. Мы тут даже не говорим о Новом Завете, которым продолжился древний и начался личный, неповторимый Божий Завет с каждым человеком (независимо от того, кто он). Новый Завет есть, конечно, высшее торжество вышенациональной всечеловечности, вышедшее из недр еврейства, избранного Богом для возвещения этой истины в народах.

Как и всякий человек, всякий народ, оценивая религиозные явления, имеет свою точку отсчета в основном, чисто религиозном рассмотрении людей: послушания их или непослушания Богу, как Божьих детей.

Послушание народа Богу выражается не только в его вере в Бога, но и исповедании ответственности своей веры пред Богом и людьми. "Ходить пред лицом Божиим" — это и послушание Богу, и вера в Него.

Если бы Суд принял решение, согласно мнению одного из судей, оставшегося при своем мнении, Израиль мог бы легко отразить недавнее известное постановление Объединенных Наций, что Сионизм, тот, который строит сейчас Израиль, есть разновидность расизма. Израиль был возмущен и обижен таким его отождествлением с теми, от которых он более всего пострадал в истории. Это можно понять. Но дело не в эмоциях обиды; дело, если можно так сказать, в существе этого дела. У Израиля, мы видим, еще остались две мерки в отношении своих граждан еврейской крови. Израиль считает, что, если еврей, убежденный Словом Христовым, стал христианином, то он тем самым и перестает быть евреем. Он, будто бы, становится лишь пасынком, не имеющим права применять к себе "Закона Возвращения" в Израиль, что и получилось с о. Даниилом Руфейзенем.

Но, если какой-либо еврей, убежденный Марксом и "Московским Всемирным Союзом воинствующих безбожников" перестал верить в Бога и в слово Торы, стал убежденным,

активным атеистом, то он этим — ничуть не теряет своих прав быть евреем, считаться в Израиле евреем полноправным и полноценным. Из этого видно, какого характера существует в Израиле дискриминация в отношении своих граждан и каков характер того полурелигиозного, полунационального израильского действительного расизма, о котором говорит постановление Объединенных Наций.

Арабские страны, найдя такую "ахиллесову пятую" в демократии Израиля, не преминули ею воспользоваться и на международной арене, всадили в израильскую пятую свою стрелу, не упоминая о том, что в целом ряде арабских стран существует еще большая дискриминация в отношении крестившихся мусульман. Израиль может сколько хочет возмущаться и негодовать, что такое для него название в резолюции Объединенных Наций оскорбительно, но доказать существование у себя полной демократической религиозной свободы совести он не может, пока существует в его стране это позорное для нее возвышение его крови и национализма над правовой установкой свободного правового демократического общества.

Никогда не поздно для Израиля пересмотреть эту ситуацию и изменить ее в сторону полной религиозной антидискриминации в его обществе. Израилю пора перестать стоять на том уровне социальном, на котором стоят те арабские страны, которые практикуют религиозный расизм в своих арабских странах и которым Ислам не позволяет принять законы, соответственные демократическим правовым государствам мира. А Израиль считает себя аванпостом демократии в арабском мире. Пока еще он не имеет права так сказать. Наше желание, чтобы он мог бы так о себе сказать.

Изменит ли Израиль это положение? Думаем, что многие израильтяне хотели бы этого. Во всяком случае, половина народа. Тем более, что (как мне говорили в Израиле) подавляющее большинство евреев в Израиле связаны с иудаизмом не религиозно, а лишь "кровью". Но возглавители и судьи Израиля навряд ли готовы сейчас разорвать этот Гор-

диев узел, еще отделяющий Израиль от правовых государств мира. Израиль продолжает определять свою религию натураллистически, "плотью и кровью". Но в наш век и евреи многие понимают, что "плоть и кровь Царства Божьего не наследуют". Люди выросли до их и их народов общечеловеческого единства. Не пора ли и Божьему избраннику (во что верю), Израилю, выйти из младенческого понимания религии?

Архиепископ Иоанн С.Ф.

*...И КОММЕНТАРИЙ Д-РА МИХАИЛА АГУРСКОГО
(Иерусалимский университет)*

Письмо архиепископа Иоанна вызывает серьезные возражения, хотя с некоторыми его положениями нельзя не согласиться. Он утверждает на примере дела Даниэля Руфейзена, что в Израиле господствует расизм, так что известная резолюция ООН имеет свои основания. Однако, как бы ни относиться к этому делу, оно вовсе не говорит в пользу антиизраильской резолюции. Если бы в Израиле действительно существовал расизм, то дела Даниэля Руфейзена не могло бы быть в принципе, ибо этот католический священник — еврей по крови, тогда как расизм руководствуется прежде всего биологическим критерием. Стало быть, по этому критерию Даниэль Руфейзен полностью является евреем, и тем не менее его принадлежность к еврею вызвала много споров и не была подтверждена судом.

Немецкий расизм именно биологически определял принадлежность человека к тому или иному народу, и принадлежность еврея к христианству нисколько не меняла отношения к нему немецких нацистов. Напомним имена таких людей, как немецкий католический философ Эдит Штейн, русский эсеровский лидер и затем издатель "Современных записок" Илья Бунаков-Фундаминский и многие другие евреи-христиане, погибшие в немецких лагерях смерти. Таким образом, объединять под одним названием столь различные явления, как германский нацизм и отношение к вопросу: "Кто является евреем?", в корне неправильно.

В то же время есть смысл остановиться на проблеме отношения к христианству в Израиле, поднятой архиепископом Иоанном. Этот вопрос, породивший дело Руфейзена, является весьма драматическим, способным вызвать немало конфликтов в будущем. Но, повторяю, речь идет не о расизме, а, скорее, об обратном, ибо последовательно проведенный в жизнь расизм полностью устранил бы этот конфликт.

Надо сказать, что дело Руфейзена было лишь предельным случаем, ибо отец Руфейзен — монах, католический священник и по своему положению принадлежит к христианской общине, в принципе исключающей всякое участие в жизни еврейской общины.

Именно предельный характер этого случая и предопределил его отрицательное решение в израильском суде. Но надо сказать, что решение это не было столь очевидным с религиозной точки зрения и вызвало сомнения и оживленные комментарии, практически неизвестные за пределами еврейского мира, да и вряд ли хорошо известные и в нем самом.

Приведем мнение одного из главных галахических* авторитетов современного еврейского мира раввина Аарона Лихтенштейна, ныне ректора ешивы в Гуш-Этцион, находящейся в двадцати километрах от Иерусалима, в Иудейских горах.

В своей статье, посвященной делу Руфейзена** раввин Лихтенштейн писал, что сущность этого дела сводится к попытке

* Галаха — свод еврейского канонического права.

**Aharon Lichtenstein, "Brother Daniel and the Jewish fraternihj", Judaism 1963,3, pp. 260-280.

определить еврея в расовом, национальном и религиозном отношении. "Интерес к этой проблеме вряд ли может удивлять", — пишет Лихтенштейн. В то время как она всегда имела общее значение (усиливающееся в связи с растущей секуляризацией европейского еврейства) — возникновение Израиля, как независимого социально-политического целого с фиксированными географическими границами, придало ей совершенно новый и еще более острый характер. Проблема прежде всего стала очень насущной. То, что раньше носило чисто теоретический и академический характер, приобрело политическую и, в первую очередь, юридическую остроту.

В прошлом любое практическое применение вопроса "Кто является евреем?" обычно имело чисто местное значение — принимать или не принимать такого-то в некую еврейскую общину, теперь этот вопрос приобрел национальный масштаб.

И в государственном контексте, подчеркивает Лихтенштейн, должно быть вынесено единое решение, влияющее на всех.

Есть, с его точки зрения, и еще одна причина, по которой вопрос: "Кто является евреем?" приобретает большую важность. Пока еврей оставался в рассеянии, подвергаясь постоянным гонениям, он обычно не имел ни досуга, ни намерения определить самого себя. В гетто и концентрационном лагере просто оставаться евреем было достаточно тяжело. Перед лицом крестоносцев, казаков, нацистов все, что могли делать евреи, — это поддерживать свою принадлежность к еврейству. Что касается остального, то существовал комплекс элементов, которые каким-то образом определяли и образовывали еврейство; можно было их ощущать, принимать, бороться против ужасных несчастий (чтобы осуществлять их в жизни) и не слишком размышлять. С появлением государства ситуация изменилась. Не имея за спиной Иннокентия III, Хмельницкого и Гитлера, стало вдруг легче забыть как само еврейство, так и то, что оно означало. И тогда определение "Кто является евреем?" стало насущной необходимостью.

По мнению раввина Лихтенштейна, в оценке дела Рухейзена важно иметь в виду его более широкую основу, ибо это дело может и должно быть рассмотрено с двух точек зрения.

Во-первых, оно представляет собой техническую проблему, которую нужно оценивать в свете специальных галахических принципов, регулирующих отношения отступника к "Кнесет Исраэль"*. В то же самое время это — часть более широкой философской попытки — вневременной и смягченной в наши дни — определить основу и сущность еврейства. Эти два подхода не противоречат друг другу.

Обсуждая эти проблемы, раввин Лихтенштейн сохраняет крайнюю осторожность даже в столь предельном и, на первый взгляд, ясном случае, как дело отца Даниэля. Он говорит, что вряд ли кто-либо может вынести исчерпывающее решение без полного знания всех свидетельств, касающихся этого человека. Наиболее важным утверждением Лихтенштейна является то, что вопрос о том, еврей ли человек, отступивший от иудаизма, не имеет единого ответа. Отступник, но какого типа? Еврей — для какой цели? Галаха подразделяет отступничество на различные типы, и различие между ними зависит как от способа отступничества, так и от его мотивации. Она в то же время не указывает на единый способ обращения с отступником. Проблема статуса отступника касается всех областей, в которых по Галахе необходимо отличать еврея от нееврея, но этот статус неодинаков во всех областях. Один тип отступника может рассматриваться как еврей в одной из областей и не может рассматриваться как еврей в другой. Для другого типа положение может быть обратным.

В основном Галаха, по мнению Лихтенштейна, оперирует с пятью типами отступников. Первый, наименее порицаемый, — это личность, которая, дабы удовлетворить некоторые из своих страстей, обычно пренебрегает одной из заповедей Торы. Второй тип идентичен первому за исключением того, что в этом более тяжелом случае мотивация не есть удовлетворение какой-то страсти, но чисто мятежная злоба.

Следующие два типа отличаются от прежних не субъективными мотивами, а тяжестью объективного греха. Один из них — личность, которая нагло, публично и злобно оскверняет субботу. Другой — это верующий в нееврейскую религию и

* Израиль, как духовное целое.

участвующий в ее богослужении. В заключение приводится "отступник по отношению ко всей Торе" — тот, кто отверг решительно все и полностью отрицает иудаизм.

Обращенный монах оказывается очень близким к олицетворению всех пяти типов, и полная оценка его статуса требует по крайней мере некоторого основного знания галахических категорий отступничества и их последствий.

Лихтенштейн полагает, что даже не возникает возможность исключения первых двух групп из "Кнесет Исраэль". Однако она возникает, хотя и не безусловно по отношению к обращенному в другую религию.

В наиболее ограниченной форме статус отступника связан с сужением его права исполнять определенные религиозные функции.

Ему запрещается выполнять некоторые действия. Животное, убитое им даже в соответствии с религиозными правилами, считается некошерным, а списки Торы или мезузы, написанные им, являются недействительными. Он не может совершать жертвоприношения ни как священник, ни как мирянин. Согласно некоторым авторитетам, он не вправе совершать обряд обрезания.

Отвержение отступника в этих сферах, — пишет Лихтенштейн, — однако, не влечет за собой необходимость того, чтобы в данном или ином случае он рассматривался как нееврей. Речь идет лишь о том, что, не являясь полностью преданным еврею, он не считается достойным замещения различных должностей или выполнения различных функций.

Отступник может быть поражен в правах не потому, что он стал неевреем, но потому, что даже для еврея отступничество является причиной для поражения в правах. Отступник может иногда иметь меньше прав, чем нееврей.

Раввин Лихтенштейн утверждает, что отступник лишь исключается из более узкой общины собратьев по заповедям (они разделяют духовные обязательства, от которых он отказался). Очевидно, что современное государство Израиль в целом никак не может считаться такой общиной. Так что большинство его населения находится вне "Кнесет Исраэль", как не разделяющее его духовные обязательства.

Согласно Лихтенштейну, сущность отступничества — "отчуждение и разрыв". Поэтому тяжесть отступничества возрастает по мере утраты личных связей с еврейством. Грех не является наиболее тяжелой формой отступничества, но именно такой формой оказывается "полный разрыв личных связей с еврейством, полное отчуждение от еврейского народа и его истории как духовное, так и физическое". Наконец, самая крайняя форма отступничества — ассимиляция в нееврейском обществе. Именно это является пределом, который не может переступить еврей, чтобы остаться еврею. Но переступил ли этот порог отец Даниэль?

Лихтенштейн ссылается на очень известный авторитет современного еврейства раввина Соловейчика. Последний указывает, что наиболее тяжелым случаем отступничества является тот, когда дети отступника не будут знать, что они евреи.

Основные принципы Галахи были сформулированы в свое время в отношении отступления евреев в идолопоклонничество. Но язычество не имело исключительного характера, так что человек, поклонявшийся тем или иным языческим богам, отнюдь не должен был поклоняться только им. Таким образом, участие в культе Митры или в Олимпийском культе вовсе не означало разрыва с еврейством, хотя и было смертным грехом.

С христианством с самого начала все было иначе, ибо оно настаивало на абсолютной преданности и неучастии в других культах. От еврея, обращенного в христианство, требовалось полное личное отчуждение от еврейства, и оно в самом деле оказывалось значительно большим, чем у евреев-поклонников Митры. Лихтенштейн утверждает, что понятие еврей-христианин было отвергнуто самой церковью как терминологическое противоречие, иначе говоря, он считает древний иудаизм более толерантным по отношению к иудео-христианству, чем христианская церковь.

Далее автор статьи о деле Руфейзена настаивает на том, что нельзя уравнивать всех отступников от еврейства. "Есть отступники и отступники", — говорит он. Между Гейне и Дизраэли лежит огромная пропасть, а между Дизраэли и Пабло Хри-

стиани — пропасть еще больше. Еврейство имеет двойственный характер, материальный и духовный. Любые меры против отступников могут быть предприняты лишь в духовной сфере. Интересно, что Лихтенштейн считает, что каждая нация имеет особую духовную основу, а не только лишь одни евреи. Он приводит слова Эрнеста Ренана о том, что "нация — это душа, духовное понятие". Это полностью совпадает и с точкой зрения, выраженной, например, Вадимом Борисовым в его статье о нации в сборнике "Из-под глыб".

Итак, ясно, что даже случай с отцом Даниэлем отнюдь не столь очевиден с галахической точки зрения, и решение израильского суда вряд ли соответствует требованиям Галахи. Отец Даниэль не утратил личной связи с еврейством, а напротив, разделил свою жизнь с еврейским народом. Вместе с тем, его монашеский сан, его сан католического священника существенно отделил его от того, что Лихтенштейн называет духовной сущностью Израиля — "Кнесет Исраэль".

Вполне очевидно, что изложение взглядов столь авторитетного лица, как раввин Аарон Лихтенштейн, полностью опровергает как мнение архиепископа Иоанна о том, что в Израиле существует расизм, так и противоположное мнение о том, что религиозные поиски автоматически выводят людей из еврейского народа. Такие поиски ставят лишь вопрос о духовных связях того или иного лица с "Кнесет Исраэль".

Вопрос о духовных связях религиозного инакомыслия с основным стержнем иудаизма всегда стоял менее остро, чем аналогичный вопрос в христианской церкви. Можно в этой связи напомнить о постановлениях Вселенских Соборов, грозящих отлучением от Церкви не только за один факт посещения христианином синагоги, но даже за обращение к еврейскому врачу или же совместное мытье с евреем в одной бане.

Хорошо известно, что постановления Вселенских Соборов давно не применяются, но формально они никем не отменены и входят как составная часть в православное каноническое право.

По-видимому, утверждение Лихтенштейна о том, что еврейская община была более толерантной к различным проявлениям религиозного синкретизма, чем христианская церковь,

является справедливым. Он пишет, что переход в христианство евреев в прежние времена сопровождался полным разрывом с еврейством прежде всего из-за исключительного характера самого раннего христианства.

Ныне христианская церковь в значительной мере утратила такой характер, и довольно часто евреи, в той или иной мере вовлеченные в христианство, не только не теряли связи со своим народом, но и напротив оставались в его гуще. Можно даже указать на довольно широкую в Израиле группу так называемых мессианских евреев, которые, признавая Иисуса Мессией, остаются в рамках еврейства. Некоторые из этой группы являются очень набожными людьми, выполняющими все еврейские религиозные предписания.

Вряд ли кто-нибудь поставит под сомнение еврейство мессианских евреев, но зато ортодоксальная синагога вправе называть их еретиками и в духовном смысле не считать их полноправными членами "Кнесет Исраэль". Точно так же, как русская православная церковь вправе подобным же образом относиться к баптистам или пятидесятникам.

Ортодоксальная синагога имеет полное право следовать своему каноническому праву, дисквалифицируя некоторых евреев и не считая действительными обряды, которые могли быть ими выполнены, в частности, написания мезуз, убоя скота и т.д. Но так как практических поползновений на их выполнение со стороны еврейских религиозных инакомыслящих не бывает, то подобные весьма тяжелые наказания существуют скорее лишь потенциально.

Ни Христианство, ни Иудаизм не имеют ныне той исключительности, которую они имели раньше. Это невольно порождает целый ряд новых ситуаций, в том числе возможность различных форм религиозного синкретизма.

Однако, архиепископ Иоанн полностью прав, когда пишет, что воинствующие безбожники, предатели еврейского народа, сотрудники тайной полиции и палачи из коммунистических стран, различного рода уголовные преступники и аферисты порой не встречают в Израиле никакого нравственного осуждения и сопротивления, в то время как любые религиозные искания внутри еврейства способны подчас вызвать под-

линную истерию. Это безусловно способно вести к деморализации израильского общества и является следствием глубоко непонимания того, что в наше время, когда ортодоксальные евреи вряд ли составляют более чем пятнадцать-двадцать процентов населения страны, некритическое использование норм, выработанных две тысячи лет тому назад, крайне опасно для еврейского народа. (Представьте себе, что случилось бы, если бы сейчас в христианском мире кто-либо вдруг захотел полностью воплотить в жизнь все постановления Трулльского или иного Собора, хотя формально они до сих пор не отменены).

Именно такая ситуация ведет к тому, что вопросы религиозных исканий используются людьми, спекулирующими на религии для запугивания ортодоксальных евреев. Не секрет, что в Израиле есть ничтожная группа людей, стремящихся вызвать антихристианскую истерию для того, чтобы заполучить от перепуганных благочестивых евреев денежные субсидии, изображая себя при этом бесстрашными борцами против мнимого христианского засилья. Это главным образом некоторые выходцы из Советского Союза, среди которых немало ренегатов христианства, пытающихся представить себя ревностными евреями чуть ли не с пеленок. Не зная зачастую даже иврита, они доказывают, что любые религиозные искания должны автоматически исключать человека из состава еврейского народа, требуют политической дискриминации таких людей и нападают на правительство Израиля за благодушие по отношению к христианству.

Эта группа, к сожалению, вынесла из России только самое отрицательное, а именно, тоталитарное мышление и вывернутую наизнанку идеологию черносотенства, которым она хотела бы придать еврейское обличье.

И, конечно же, всякие обвинения Израиля в расизме являются питательной средой для таких людей, пользующихся любой возможностью, чтобы вызвать в стране ксенофобию по отношению к окружающему миру. Но с другой стороны, письмо архиепископа Сан-Францисского — это шаг к открытому

диалогу, который может принести лишь пользу обеим сторонам, выбивая почву из-под ног как у антисемитов, так и у их подражателей в еврейской среде.

О т редакции.

Публикуя письмо архиепископа Иоанна Сан-Францисского и комментарий доктора Михаила Агурского, редакция не может согласиться с рядом высказанных ими положений. Вслед за доктором Агурским мы не можем присоединиться к утверждению архиепископа Иоанна о том, что в Израиле якобы существует расизм, а религиозная дискриминация достигает такой степени, что дает основание сравнивать свободный, демократический Израиль с Советским Союзом. По-видимому, серьезные возражения вызовет у некоторых читателей и ряд высказываний доктора Агурского относительно галахического толкования сущности еврейства. Несмотря на это, мы считаем необходимым привести полностью как письмо, так и комментарий к нему. Честная и открытая дискуссия, на наш взгляд, может принести только пользу, ибо не оставляет места для национального, религиозного или политического фанатизма, в плену которых так часто оказывается современное общество. Именно поэтому мы считаем, что любая точка зрения, какую бы систему взглядов она ни выражала, имеет право быть выслушанной читателями. Это в равной степени относится как к архиепископу Иоанну Сан-Францисскому, так и к любому из его оппонентов, независимо от их религиозной или национальной принадлежности.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Владимир РЫБАКОВ. Родился во Франции в 1947 году. В 1957 году вместе с семьей переехал в СССР. (Родители были коммунисты). Там получил незаконченное высшее образование. Три с половиной года служил в армии на Дальнем Востоке (позже об этом была им написана книга "Тяжесть"). В 1972 году выехал во Францию. В настоящее время живет в Париже и работает в газете "Русская Мысль".

Вадим НЕЧАЕВ. См. журнал № 18.

Лия Владимировна (Юлия Дубровкина) родилась в 1932 году в Москве. В 1961 году окончила сценарный факультет Всесоюзного Кинематографического института; писала сценарии для кино и телевидения. В СССР опубликовала несколько стихотворений. Выехала в Израиль в 1973 году. Выступает с поэтическими произведениями в "Континенте", "Сионе", "Меноре", "Новом Русском Слове", "Гранях", в журнале "Время и мы". Выпустила два сборника рассказов и очерков.

Ефим ЭТКИНД. См. журнал № 22

Фаина БААЗОВА. См. журнал № 25.

Михаил ХЕНЧИНСКИЙ. Родился в 1924 году в Лодзи. Один из организаторов Сопротивления Лодзинского гетто. Затем попал в Освенцим, откуда в 1945 году бежал, служил в Советской Армии. С 1947 года жил в Польше и последние десять лет работал в Научно-исследовательском институте военной экономики. Опубликовал пять монографий и около девяноста научных статей, в основном, по военной экономике. С 1969 года живет в Израиле. Публикуемый очерк — фрагмент из книги, выходящей в свет в этом году.

"РУССКАЯ МЫСЛЬ "

"LA PENSEE RUSSE"

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЗИНАИДА ШАХОВСКАЯ

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой. Распространитель: "Атлас", ул. Членов, 49, Тель-Авив. Газета продается в магазинах русской книги и киосках страны.

ФОНД ДРУЗЕЙ ЖУРНАЛА "ВРЕМЯ И МЫ"

Основан Фонд друзей журнала "Время и мы". Средства Фонда расходуются на поддержку деятельности этого журнала, привлечение к его работе наиболее одаренных русскоязычных писателей в Израиле и за его пределами, на издание лучших произведений евреев-писателей, как приехавших в Израиль, так и остающихся в России, на установление связей с русским и еврейским Самиздатом.

В правление Фонда входят:

Израиль Бар-Шира, Даниель Блюдз, Егошуа А. Гильбоа, Михаил Кленвер, Яков Махт, Борис Орлов, Виктор Перельман, Сай Фрумкин, Йосеф Текоа.

Взносы направляются через банковский счет журнала "Время и мы" по адресу:

Israel Discount Bank L.T.D., branch Akirja account 140317, Tel-Aviv.

Правление Фонда уведомляет, что на банковский счет журнала поступили взносы в сумме 500 долларов от Сая Фрумкина (Калифорния), в сумме 500 лир от Давида Островского (Тель-Авив).

Правление Фонда приносит глубокую благодарность господину Фрумкину и господину Островскому.

"ВРЕМЯ и МЫ" — 1978 год.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 210 лир

на 12 месяцев - 384 лиры

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев — \$ 19.60 (авиапочта — 37.50)

на 12 месяцев — 39.20 (авиапочта — 75.00)

Цена номера в открытой продаже — \$ 4.5

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев — F.FR. 92 (авиапочта — 155)

на 12 месяцев — 184 (авиапочта — 310)

Цена номера в открытой продаже — F.FR. — 23

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88)

на 12 месяцев — 92 (авиапочта — 176)

Цена номера в открытой продаже — DM — 11

"ВРЕМЯ и МЫ" - 1978 год.

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1978 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высылается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel-Aviv или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1978 ГОД

Авиапочтой
Обыкновенной почтой
Журнал высылать с номера

сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать по адресу:

Приложен чек

Подпись Дата

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высылается по адресу: **P.O.B. 24123,**

Tel-Aviv, Israel или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**

ВСЕ, ЧТО ТЫ ИСКАЛ!

В залах "СОЛЬКУР-99" открыта выставка, производится продажа и даются советы по оформлению квартиры.



К вашим услугам набор кофемолок и посуды, изделия из стекла и керамики, цветные телефоны, комплекты столовых приборов, различного вида кастрюли, сковородки, стенные часы и разнообразные электроприборы. Для оборудования новой ванной комнаты, к вашим услугам особая мебель, различные облицовочные плитки краны и раковины.



Т-А., ул. Бен-Иегуды, 99.
Иерусалим, Шломцион Гамалка, 3.
Хайфа, Кикар Солель Боне.
Беер-Шева, рядом с остановкой автобусов "Эгед".

סולקור 99



Зав. редакцией и корректор Марина Голубева
Художественный редактор Эфраим Алелов

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п. я. 24123, Тель-Авив. Тел. 621085.
62/9 Nachmani st. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А

OCR и вычитка - Давид Титиевский, февраль 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

На четвертой странице обложки Д. Бирк "Голова Бога"
("Документа-6").

Фото вернисажа и четвертой страницы обложки взяты из Проспекта выставки "Документа-6", составленного и выпущенного издательством "Пауль Дирихс КГ и К".

"Пауль Дирихс КГ и К".

